BESTSELLER

Барри Ансуорт



Моралите

Детективный шедевр от лауреата Букеровской премии!

Моралите
Барри Ансуорт

Аннотация
БАРРИ АНСУОРТ. МОРАЛИТЕ
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая

Аннотация

Англия. XIV век.

Где-то идет Столетняя война… Где-то чума уносит тысячи жизней…

А в маленьком городке труппа странствующих актеров снова и снова ставит моралите «Игра о Томасе Уэллсе» — пьесу о недавно случившемся жестоком убийстве двенадцатилетнего мальчика, за которое скоро должны повесить местную девушку.

И каждое представление становится частью расследования.

И каждое представление приближает актеров-«следователей» и зрителей-«присяжных» еще на шаг к истине…

БАРРИ АНСУОРТ
МОРАЛИТЕ

Глава первая

Все это началось со смерти, и еще одна смерть вела нас. Первой была смерть человека по имени Брендан, и я видел самый ее миг. Я видел в жестокую стужу, как они сомкнулись в круг и нагнулись над ним, а затем попятились, чтобы открыть путь отлетающей душе. Казалось, что они сыграли его смерть для меня, и это было странно: они ведь не знали, что я слежу за ними, а я тогда не знал, что они были такое.

И странно, как то ли ангелы, то ли демоны привели меня к ним в то время, когда мое безумие ввергло меня в столь великую нужду. Не стану скрывать свои грехи, иначе чего стоит их отпущение? В тот самый день голод толкнул меня на блуд, а из-за блуда я потерял мой плащ.

Я ведь только бедный школяр со штанами, открытыми ветрам небесным, как говорят люди, и не могу ничем похвастать, кроме латыни, но я молод, хорошо сложен, хотя ростом коротковат, и женщины порой на меня заглядывались. Такое и приключилось незадолго перед тем, как я увидел смерть Брендана, хотя на этот раз, как я

уже говорил, причиной был голод, а не похоть, а значит — грех менее великий; я надеялся, что она меня накормит, но она была слишком распалена, и ей не терпелось. Тут на беду муж вернулся раньше, чем его ждали, и мне пришлось спасаться через хлев, бросив в эту студеную декабрьскую погоду мой теплый плащ. Я опасался погони, переломанных костей, пусть и запрещено поднимать руку на человека, облеченного саном, и потому шел по краю опушки, а не по большаку. Если бы я держался большака, то прошел бы мимо, не заметив их.

Они были на поляне, там, где от большака ответвлялась уводящая в лес дорога. Они завернули туда свою повозку и, когда я вышел на них, как раз снимали с нее этого человека. Я скрытно следил из-за деревьев, боясь подойти ближе. Я принял их за разбойников. Одежда на них была странная, с бору по сосенке и словно бы с чужого плеча. Времена сейчас опасные, а духовным лицам носить оружие воспрещено, и при мне была только палка (палки, дубинки, дубины не имеют ни острия, ни лезвия, а потому, разумеется, под запрет не попадают).

Из моего укрытия я увидел, как они сняли его с повозки, а тощий полувзрослый волкодав, ко-

торый был с ними, весело прыгал, будто играя, и высовывал белесый язык. Я увидел мужское лицо и смертный пот на нем. Они положили его на поляне. Они свернули туда, чтобы быть рядом с ним в его смерти; я понял это тогда же: кто позволит, чтобы товарищ испустил последний вздох в трясущейся повозке. Умирающих и только что умерших мы хотим видеть как можно ближе, чтобы они сполна испили млеко нашей скорби. Господа Нашего сняли с креста, дабы скорбеть над ним, на Кресте он был слишком далек.

Они сгрудились вокруг него, скорчились так близко, будто он был костром, согревавшим их в этот зимний день, шесть человек — четверо мужчин, мальчик и женщина. Одеты в обноски и противу всех установлений о том, как и кому надлежит одеваться: на одном зеленая шляпа с пером, какие носят только богатые, хотя прочее было нищенским, на другом — белый балахон до колен, из-под которого выглядывали ветхие чулки, еще один (мальчик) кутался в грубую шаль словно бы из конского волоса. Дубы позади них выглядели порыжелыми из-за необлетевшей пожухлой прошлогодней листвы; и на ней, и на мохнатой, точно шкура, шали мальчика лежал проблеск света.

Мужчина умирал без последнего причастия, и, возможно, еще оставалось время протянуть ему Крест, но я боялся подойти. Mea maxima culpa.[1]

Теперь я уже не мог его видеть, но через разделявшее нас пространство я слышал его хрипение и видел облачка пара изо ртов тех, кто склонялся над ним. Будто курился ладан, благовоние благочестия. Затем хрип затих, и я увидел, как они отпрянули, освобождая место для Смерти, что было вполне разумно, ибо Смерть на просторе менее свирепа, чем в стеснении. И все это вместе походило на ту сцену в моралите, когда осажденная душа наконец освобождается и улетает. Вот тут я увидел, что к шляпе мужчины с пером пришит знак служения, эмблема патрона.

И тут же меня отыскал пес. Изголодавшийся, с выпирающими ребрами, он, однако, не ластился и не выказывал боязни, а только глупое благодушие. Несколько раз он попытался пролезть в круг, заключавший умирающего, а когда его отогнали, принялся обнюхивать края поляны, добрался так до дерева, за которым скорчился я, и затявкал, не столько, казалось, угрожая, сколько здороваясь, что привело туда одного из мужчин — того, в

[1] Сноски: 1

Моя великая вина *(лат)* — католическая формула покаяния. — *Здесь и далее примеч. пер.*

зеленой шляпе, дюжего оборванца с черными волосами, завязанными на затылке, и глазами чернее ежевики. Увидев меня, он вытащил нож, и я тут же вскочил со всей поспешностью и развел раскрытые ладони в жесте священнослужителя, возносящего благодарение над дарами, чтобы он сразу понял, кто я такой.

— Поди сюда, покажи свое лицо.

Я поторопился исполнить это.

— Я шел по лесу, — сказал я. — И случайно набрел на вас. И не хотел тревожить вас в такую минуту.

Они посмотрели на меня, отведя взгляды от мертвеца, чьи глаза были широко раскрыты. Голубоватые, как яйца в гнезде дрозда. Он был лысым, с круглой головой, лицо жирное, будто маска из топленого сала, рот кривой, чуть приоткрывшийся. Пес воспользовался случаем и облизал ему лицо, а облизывая, открыл рот пошире. Мальчик пнул пса, тот взвизгнул, отбежал и помочился на дерево.

— Поп, — сказал мальчик. Плечи ему окутывала не шаль, а какое-то одеяние со свисающими штанинами. Теперь я разглядел, что он плачет: лицо у него было мокро от слез.

— Ты мог бы повернуть назад или пойти в об-

ход, — сказал тот, со значком на шляпе. — А не подглядывать.

На значке была белая цапля со скрещенными алебардами. Я счел его вожаком, потому что он носил значок и говорил за всех них. Выглядел он на несколько лет старше меня, роста среднего, худой, но жилистый и быстрый. На нем была куртка из овчины, а под ней короткая туника, сильно обтрепанная у шеи. Из-под тонких чулок выпирали мышцы голеней и бедер.

— Ты даже опоздал исполнить свой долг, — продолжал он с презрением. — Брендан умер во грехе, пока ты прятался там.

Его узкое овальное лицо побелело от горя или от холода. Глаза были красивыми, серо-зелеными, под раскосыми бровями. Позднее я не мог понять, почему не углядел опасности в этом лице, лице фанатика, но в ту минуту страх парализовал мою пророческую душу. Я не храбр, а на них наткнулся в миг смерти. Я был чужаком и в какой-то мере оказался виноватым. В те страшные времена такого было достаточно, чтобы подвергнуться избиению, если не хуже. В людях живет страсть к насилию, и где собираются несколько человек, дух убийства витает поблизости.

— Я никакого зла не замышлял, — сказал я. — Я

всего лишь бедный служитель Божий.

Говорить последнее никакой нужды не было, они и сами могли догадаться по моей тонзуре и одежде.

— Со мной никого нет, — добавил я.

— Поп идет пешком, поп прячется за деревьями, — сказал еще один, тот, в белом балахоне, и засмеялся, как зарыдал. — Проповедовал перед лесной нечистью. — По виду он был молод, лет двадцати, с волосами цвета льна, совсем нечесаными. Глаза у него были белесые, зыркающие, широко посаженные, и губы цвета крови. На его щеках тоже поблескивали слезы.

— Я никакого зла не замышлял, — сказал я снова.

— Убери нож, Стивен, — сказал вожак темноволосому. — Берешь ли ты молот против букашки?

Этот презрительный отзыв о моем статусе как священнослужителя и о моем достоинстве как человека больно ранил меня в моем беспомощном состоянии, но страх помешал мне ответить. Стивен ловко засунул нож за пояс и оскалил зубы. Мне показалось, что это он проделал, чтобы не выглядеть таким уж послушным. Тут я заметил, что на правой руке у него нет большого пальца.

Пегий одер приковылял к краю поляны и опу-

стил голову, чтобы пощипать жидкую траву. Повозку укрывал промасленный холст, но с моего места я мог заглянуть в нее через деревянную загородку сзади. Там вперемешку были навалены всякие странные вещи: узлы ярких тканей, мантии и костюмы, вызолоченная корона, выпиленный и раскрашенный силуэт дерева, а еще свернутая в кольца змея и вилы Дьявола, и льняной парик, и приставная лесенка. А еще горшки и сковородки, и жаровня, и таган, и круглый медный поднос не меньше ярда в поперечнике.

Не требовались такие познания в Законе Оккама, какими обладаю я, чтобы найти самое краткое объяснение столь разнородному скарбу: они были странствующими комедиантами и тепла ради напялили на себя части костюмов.

Мой страх рассеялся, никто ведь комедиантов не боится, но я чувствовал, что положение остается трудным. Столкнувшись со смертью, я не мог просто взять и уйти. Я заговорил — обычная моя главная сила. Я обилен на слова, когда нахожу тему, а участие в диспутах в дни учения отточило мое красноречие и научило риторическим фигурам. Я объяснил им, что остановил меня здесь дух любознательности, и указал далее, что это вовсе не порок, как иногда полагают невежды, называя

его любопытством, но, напротив, дух любознательности в упорядоченной душе порождается чувством сострадания, и в доказательство привел изречение Публия Теренция Афера[2]: «Humani nil a me alienum»[3].

Бывают мгновения, когда мы слепы к несочетаемости вещей. Я стоял среди них и сыпал словами, а мертвец лежал перед нами, уставившись в небо, все больше темнеющее угрозой снега. Я бы продолжал и дальше, увлеченный своей темой, если бы меня не перебило фырканье, которое издал Стивен, и мальчик захлопал в ладоши. Меня обидело такое неуважение, но я потом вспомнил, как, наверное, выгляжу в моей ветхой сутане и с теменем в вихрах. Я странствовал с начала мая, и волосы отросли. Я попробовал восстановить тонзуру с помощью бритвы из моего мешка, но ничего хорошего не получилось, мне же пришлось орудовать на ощупь.

— Ну, говорить он горазд, — сказала женщина. Она была грязна и неприглядна, волосы падали ей на глаза; все еще молодая, но невзгоды легли, как маска, на лицо ее юности. Такие лица мы те-

---

[2] Сноски: 2
Римский комедиограф (195–159 до н. э.).

[3] Сноски: 3
«Ничто человеческое мне не чуждо» *(лат.)*.

перь видим часто — не подлинные человеческие лица, но в масках страданий. Плечи и грудь ей окутывала пестрядь в красно-белую клетку, взятая с повозки накидка шута с дырой посредине, через которую она просунула голову.

— Шастая за кустами, чего он хотел увидеть?

Она приподняла на несколько дюймов облепленный грязью подол своей юбки, прихватив и нижние, и развела колени — движение это было чуть заметным и очень зазывным приглашением шлюхи. Тут пялившийся на меня белобрысый, по виду, сказал бы я, не совсем в себе, проделал быструю пантомиму: скорчился в своем белом ангельском балахоне и зашарил глазами, все время сглатывая с распаленным любострастней. Изображено это было превосходно, но никто ничего не сказал и не засмеялся. Они горевали об умершем, они его любили. Я для них ничего не значил, потому что появился из-за деревьев, как тать, и они поняли, что я беглец, без разрешения покинувший пределы своей епархии. Бродячие комедианты тоже просто бродяги, но у этих был значок, они получили разрешение своего лорда.

Тот, кого я счел вожаком, снова встал на колени возле покойника, закрыл его веки и очень бережно повернул лицо ладонью так, чтобы дряблые

губы сомкнулись над бескровными деснами.

— Увы, бедный злосчастный Брендан, — сказал он и взглянул на меня. — Ты пришел в плохое время, — сказал он без всякой враждебности. — Ты пришел с его смертью. И теперь окажи нам любезность, иди своей дорогой.

Но я не пошевелился, потому что его слова натолкнули меня на мысль.

— Надо будет уложить Брендана назад в повозку, — сказал он, вновь глядя на мертвое лицо.

— В повозку? А зачем? Куда нам его везти? — Это резко сказал мужчина, которого звали Стивен. Я увидел, как старший комедиант сглотнул, и на его щеках выступили красные пятна гнева, но сразу он ничего в ответ не сказал.

— А ты убирайся, пока тебя ноги еще носят, — злобно сказал Стивен мне; гнев жег и его тоже.

— Погодите, — сказал я. — Разрешите мне пойти с вами. Я не высок, но силой не обделен. Я могу помочь с сооружением подмостков, когда они вам понадобятся. Рука у меня разборчивая, и я мог бы переписывать роли и подсказывать играющим.

Да, предложение исходило от меня, первая мысль принадлежала мне, но вначале я не думал принимать участие в их игрищах, практиковать их постыдное ремесло — artem illam

ignominiosam, — воспрещенное Святой Церковью. О том, чтобы остаться с ними, я думал только по причине значка, который носил старшой, значка, означавшего, что труппа эта принадлежит какому-то лорду и имеет его грамоту, а потому их не посадят в колодки и не выдерут кнутом за бродяжничество, как случается с обличенными беглецами или людьми без хозяина, а также порой и с духовными лицами, у которых нет грамоты от их епископа. Не забывал я и обманутого мужа: если он гонится за мной, то я обрету безопасность в численности моих спутников. Но, клянусь, мне и в голову не приходило занять место покойника. Знай я, в какую ловушку зол заведет нас эта смерть у дороги, то незамедлительно пошел бы своим путем, ни словечка не сказав и со всей быстротой, на какую был способен.

Ответа я все еще не получил, хотя и услышал, что они пересмеиваются.

— Я могу принимать исповеди, — сказал я. — Могу толковать Писание. Правда, у меня нет бенефиция, и я нахожусь не в своей епархии, но совершать таинства я тем не менее могу. Я не прошу жалованья, а только еды и крова, какие мы найдем в дороге.

— В твоем толковании мы не нуждаемся, — сказал старшой. — Как и в твоей латыни. Ну а что до подмостков, в случае надобности помощники всегда найдутся и попросят только кварту эля да сыра на полпенни, а это дешевле, чем кормить лишнее брюхо всю дорогу.

Но теперь он глядел на меня по-другому, словно что-то взвешивал. Он услышал в моем голосе нужду, а может быть, и страх: одинокий человек — легкая добыча страха, если только он не избрал одиночество во имя Христа.

— Попы обычно умеют петь, — сказал он. — Есть у тебя голос для пения?

— Ну да, — ответил я с легким недоумением. Я еще не понял, куда он клонит. И сказал я правду: мой голос хвалили. Он был не очень сильным, зато звонким и мелодичным. В дороге, когда все мои деньги были потрачены, я иногда пользовался им в грешных целях: из нужды я пел в харчевнях, и порой в меня кидали всяким гнильем, но куда чаще кормили и оставляли на ночлег.

— В пении Брендан был истинным чудом, — сказал он. — Превосходил соловья.

— Он пел, как ангел, — сказал белобрысый со свойственной ему странной зыбкой настойчивостью. — Расставлял ноги и откидывал голову.

Словно дерево пело всеми своими листьями.

— Его песни были будто веревки, свитые из шелка, — сказал Стивен, чей голос был басистым, с хрипотцой выпивохи.

Так впервые я заметил эту их общую привычку говорить в один голос, точно петь хором, однако по очереди, так что напоминало это музыкальную гамму. Они переменились, они делились со мной тем, что знали о покойнике. Но мне было нелегко вообразить прекрасное пение, исходящее из горла вот этого Брендана передо мной, или как вот этот жалкий кривой рот рассыпает слова песни. Холод превратил его лицо в шмот свиного сала.

— Как он обрел свой конец?

— Вчера шел за повозкой, вдруг закричал и упал, — сказал четвертый мужчина, заговорив в первый раз. Он был уже в летах, с поредевшими волосами, длинным подбородком и яркими голубыми глазами. — Встать он не смог, его пришлось поднять, — добавил он.

— И говорить он не мог, — сказал мальчик. — Пришлось его положить в повозку.

— Звуки он издавал, но не слова, — сказал старшой. — А прежде был боек на язык и сыпал шутками. — Он посмотрел на меня, и в этом

взгляде проскользнул ужас. Я понял, что для него немота, сковавшая Брендана, певца и шутника, была порождением кошмара. — Спой что-нибудь, ну-ка, — приказал он мне.

Подчиняться мне не следовало, ибо он замыслил что-то для меня неприемлемое, как я уже заподозрил. Играть на подмостках нам запрещено Советом в Эксетере, а затем в Честере, а также эдиктом нашего Отца во Христе Бонифация Восьмого, и потому я знал, что подвергаю себя опасности падения. Но меня грызли голод и страх.

— Хотите услышать любовную песню, — сказал я, — или песню о добрых делах?

— Любовную, любовную, — сказал Стивен. — А добрые дела пусть Дьявол заберет.

Сказал он это без улыбки. За все то время, которое я пробыл с ними, я только один раз видел, как он улыбнулся.

— Добрые дела он, брат, не заберет, а вот необдуманная речь как раз по нем, — сказал мужчина в годах. Пес сидел рядом с ним и слушал каждое его слово. Он хлопнул в ладоши, понукая меня. — Ну так пой, — сказал он.

И я спел для них «Лентен с любовью в город пришла», один на поляне и сначала без аккомпа-

немента, но затем мальчик начал подыгрывать мне мелодию на тростниковой дудочке, которую вытащил откуда-то.

Когда я кончил, старшой кивнул. Затем он повернулся, пошел к повозке и достал из нее два тряпичных мяча, какие подбрасывают жонглеры — один красный, один белый, — крикнул, чтобы я ловил, и швырнул красный, крикнув и бросив почти одновременно. Я поймал мяч правой рукой, а он бросил белый, на этот раз высоко и настолько в сторону, что мне пришлось сделать два шага, но этот мяч я тоже поймал и удержал. Кто-то сзади подшиб мой левый каблук, когда я еще не обрел равновесие, и я споткнулся, но не упал.

Он кивнул еще раз и сказал остальным, не глядя на меня:

— В движениях он достаточно быстр и точен, хорошо видит в обе стороны и на ногах держится твердо. Голос неплох. Вторым Бренданом он не станет, но, получившись, сойдет.

Эта похвала, хотя далеко не щедрая, была мне приятна — к моему стыду. Но было в нем что-то, какая-то сила духа, вызывавшая у меня желание угодить ему. Быть может, пришло мне в голову теперь, суть заключалась всего лишь в силе его

собственного желания. Люди различаются мощью своего хотения. То, чего хотел этот человек, стало его имением и его пищей: едва желание зародилось, он управлял им и питался им. К тому же по своенравности нашей природы то, что меня подвергли испытанию, вызвало во мне стремление преуспеть, хотя я и отдавал себе отчет в греховности самого испытания.

Теперь он поглядел на них и чуть улыбнулся улыбкой, омолодившей его лицо.

— Мы взяли Маргарет, потому что Стивен так хотел, и бродячего пса для Тоби. Так почему бы и не беглого попа, который может пригодиться нам всем?

Он был главным, и все-таки ему требовалось убедить их. Как мне предстояло узнать, все, что касалось их жизни как комедиантов, они обсуждали на равных.

— Его узнают по тонзуре, — сказал Стивен.

Женщина принадлежала ему, она была не для всех, как я сначала было подумал. Это я заключил из того, как она держалась поближе к нему и слушала его слова. Однако у нее достало взглядов и для меня, насмешливых, но не совсем, и я тут же положил себе, что я, если меня примут в труппу, не стану отвечать на эти взгляды во избежание

греха. К тому же Стивен был опасен.

— В нем распознают беглого, — сказал он теперь, поворачивая свое темное лицо от одного к другому.

— Да, — сказал белый балахон, — грамоты у него нет, не то бы он к нам не напрашивался. Его могут схватить в любом приходе, и тогда нам запретят играть там.

— Пусть он носит шляпу, — сказал старый. Он словно бы не обращал внимания на то, что говорилось, и шутливо толкал пса к большой его радости. — Волосы у него отрастут быстро, не то что мои, — сказал он и с улыбкой, показавшей нехватку многих зубов, провел ладонью по жидкой бахромке волос и по обветренной лысине. — Для действа он подходит, поп он или не поп. И очень хочет присоединиться к нам, как написано у него на лице. А нам нужен шестой теперь, когда бедняга Брендан скончался.

— Крайне нужен, в том вся суть, — сказал старшой. — Мы репетировали игру об Адаме и начнем с нее, как все согласились, а она требует шестерых, и так уж трое исполняют сразу по две роли. Этот человек явился к нам по велению мысли, будто Добродетели и Пороки, спорящие в Моралите. Он явился, чуть умер Брендан, и

нам лучше всего воспользоваться этим. Вот мое мнение как старшого в этой труппе по велению нашего господина. На том и порешим с вашего согласия, добрые люди.

Тут между ними воцарилось короткое молчание, затем каждый по очереди кивнул старшому в ответ на его взгляд. На женщину он не взглянул. Когда все выразили согласие, он снова обернулся ко мне и спросил мое имя, и я его назвал: Никлас Барбер. А он назвал мне свое: Мартин Болл и сказал, как зовут остальных. Белобрысого звали просто Соломинка, а мальчика они называли Прыгун, но я не знаю, были ли то их настоящие имена. Пожилой звался Тобиас. Женщина сказала, что ее имя Маргарет Корнуолл.

Вот так, с песней и поймав мячи, будто в детской игре, я был принят в труппу скоморохов и согласился на это. Откажись я, расстанься я с ними там, на поляне с покойным Бренданом во всех его грехах, я мог бы сейчас снова быть младшим диаконом со всеми возвращенными мне привилегиями, вернуться к моим книгам в библиотеке собора. И как бы то ни было, я, без сомнения, не изведал бы ужасов, которые все еще преследуют меня по ночам.

Глава вторая

Слабость моего положения заключается в том, что, только объяснив всю его бедственность, я могу искать прощения. Но бедственность эта, в свою очередь, явилась следствием моих же легкомыслия и греховности. И значит, я ищу снисхождения к вине через признание вины предшествующей. Но этим винам предшествуют другие. И начала их цепи я не вижу, оно восходит к чреву моей матери.

Во-первых, стыд, что я причинил горе моему епископу, коему обязан тонзурой, коий всегда обходился со мной, как отец. Это же не в первый раз я ушел без разрешения, но в третий, и всегда в майское время года, когда кровь бродит. Причина на этот раз была иной, но брожение тем же: меня отправили послужить секретарем сэру Роберту де Брайену, благородному рыцарю и щедрому в благих деяниях, но профану в литературе и, короче говоря, весьма скверному поэту. Он усадил меня переписывать набело его многословные вирши, и, едва я успевал покончить с одними, как он уже нес ворох других. Все это я

еще мог сносить. Но вдобавок он усадил меня переписывать напыщенное переложение Гомера, сделанное Пилато. Птицы распевали во всю мочь, распускался боярышник. Я уложил мой мешок и покинул его дом. Когда я повстречал комедиантов, был декабрь, цветы весны давно увяли. Беды обрушивались на меня одна за другой. Я лишился священной реликвии, которую хранил уже несколько лет, купив у священника, только что вернувшегося из Рима, — лоскутка от паруса ладьи святого Петра. Я проиграл ее в кости. И затем, утром того дня, когда я повстречал их, я лишился своего теплого плаща, бросив его в трусливой спешке. Когда судьба свела меня с ними, я промерз до мозга костей, изнывал от голода и впал в полное уныние под этими ударами судьбы. Я хотел вновь стать частью сообщества, не быть больше в одиночестве. Сообщество комедиантов предлагало мне приют, хотя они были бедны и сами голодали. Вот в чем заключалась истинная причина. Значок был лишь доводом, которым я убедил себя.

В довершение моего преображения я должен был облечься в грязные зловонные тунику и куртку Брендана, а его одели в мою сутану, потому что альтернативой были бы части иноземных

костюмов в повозке. Раздела Брендана женщина, и она же надела на него сутану. Остальные отказались это сделать и даже смотреть не пожелали, хотя уж им-то переодевания были привычны. Но я смотрел. Ее движения были ловкими и бережными, а лицо светилось добротой.

Когда она закончила, Брендан теперь покоился в облачении священника, человек, который при жизни чурался благочестия и не скупился на кощунственные шутки. А я стоял в обносках мертвого комедианта.

Однако тут между нами разгорелся спор. Мартин хотел, чтобы мы увезли покойника с собой.

— Брендан умер без покаяния, — сказал он. — Нам следует похоронить его в освященной земле.

— Коняга и так еле бредет, — сказал Стивен. — Дороги скверные, и вот-вот начнется вьюга. Мы уже потеряли много времени, когда колесо сломалось. Нас послали в Дарем на Рождество играть перед родичем нашей госпожи. Если мы не исполним ее повеления, то лишимся милости. До начала Рождества остается одиннадцать дней. По моей прикидке, до Дарема еще пять дней пути. И мы будем пять дней тащиться с мертвецом?

— Священник потребует денег, — сказал

Соломинка. Со странной лихорадочностью выражения он обвел взглядом наши лица. Как мне предстояло узнать, он никогда не оставался долго в одном состоянии духа, но быстро менял его под властью некой только ему внятной фантазии, то угрюмой, то ликующей. — Мы можем похоронить его в лесу, — сказал он. — Вот здесь, в темной чаще. Брендану будет спокойно спать здесь.

— Мертвые спят спокойно везде, — сказала Маргарет. Она посмотрела на меня, в ее взгляде был вызов, но злобности в нем не было. — Наш попик может прочесть над ним молитву, — добавила она.

— У Маргарет тут нет голоса, — сказал Мартин. — Она не член труппы. — Обращал он эти слова к Стивену, чьей женщиной она была, и в его голосе я, как, конечно, и все остальные, различил дрожь еле сдерживаемой ярости. Его правая рука сжалась в кулак, и костяшки пальцев побелели. — Вы хотите бросить его здесь? — сказал он, и мне, тогда его еще не знавшему, эта ярость показалась непонятно внезапной и сильной, как будто оспаривались не просто его намерения относительно Брендана, но и какое-то лелеемое представление о мироздании.

Никто сразу не ответил, такова была ярость в

нем. Думаю, Стивен готовил ответ, но Мартин снова заговорил низким басом.

— Он был таким же, как мы все, — сказал он. — При жизни он никогда не сидел у своего очага и не ел за собственным столом. В горшках и мисках он более не нуждается, но свой дом в земле получит как положено, достаточно глубокий, и наконец-то обретет кров над своей головой.

— У Брендана были свои привычки, он первый это признал бы, и среди них пристрастие к элю, — сказал Тобиас. — Но пьяный ли, трезвый ли — он играл Шута Дьявола лучше всех, кого вам доводилось видеть.

— И чем же вы выкопаете ему могилу? — В голосе Мартина теперь звучало презрение. — Лопата Адама и грабли Евы ведь сделаны из проволоки и дранки.

— У нас есть ножи, — сказал Стивен.

Он имел в виду, чтобы копать, но теперь наступило страшное молчание, и Мартин смотрел ему в глаза, а он не отводил их. Затем Прыгун, мальчик, выступил вперед прежде, чем они успели сказать что-нибудь еще. Он всегда был миротворцем среди них, хотя и самым младшим, одним из тех блаженных, кого зовут детьми Божьими.

— Брендан научил меня кувыркаться, и ходить

на ходулях, и играть женщину, — сказал он. — Мы не оставим его в канаве, Христос — упование наше, люди добрые. — И, чтобы позабавить нас, он подобрал болтающиеся концы своей шали и изобразил женщину, хвастающую длинными волосами.

— Вы помните, как он отплясывал на своих ходулях? — сказал Тобиас. — Как вдруг спотыкался, будто вот-вот упадет?

— Он никогда не падал, только нарочно, — сказал Мартин. Он совладал со своей яростью, когда почувствовал, что остальные уступают его воле. И сказал он это мне, включая и меня в воспоминания о Брендане, и я был благодарен. Его натуре была свойственна доброта, и он бывал внимателен к другим, когда ему не перечили и он оставался спокоен. — Он надевал колпак с бубенцами и ослиными ушами, а на лицо полумаску, — сказал Мартин. — А иногда маску с четырьмя рогами, как у Еврея.

Тот, кого они называли Соломинкой, внезапно захохотал все тем же рыдающим смехом и шлепнул себя ладонями по коленям.

— Он крал эль у Дьявола и так торопился его выпить, что выплескивал себе на колени, — сказал он. — Ты бы видел, как он семенил, сжав колени

покрепче, а эль капал, а Дьявол где только не искал свой жбан.

— Ты бы просто подумал, что он обмочился, — сказал Прыгун с нежностью.

— А ты помнишь, как он утешал Дьявола своей песней? — сказал Стивен. Он обращался к Мартину, и я понял, что его гордость измыслила такой путь к примирению. — Он сочинял песни сам, — сказал он. — Сам придумывал слова. Когда Дьявол печалился, потому что Ева сначала не хотела сорвать яблоко, Брендан запевал песню собственного сочинения, чтобы развеселить Дьявола. «Эх, когда б моим мир будь», вот эту песню.

Прыгун взял свою тростниковую дудочку, заиграл мелодию, и все запели первый куплет дружным хором и глядели друг на друга, распевая во весь голос в студеную погоду среди голых деревьев:

Эх, когда б моим мир будь,
Я б от гор до синя моря
Проложил широкий путь,
Чтоб Шутам вольготно…

Так они оплакивали Брендана его же песней, и между ними вновь воцарилась гармония. Я снова их вижу, их лица, пока они пели, отблеск света,

лежащий на сухих дубовых листьях, белый ангельский балахон Соломинки, круглый медный поднос у заднего края повозки. Но сильнее всего запечатлелась у меня в уме странность нашей натуры — что жестокая ссора из-за погребения одной бедной бренной оболочки чуть было не разгорелась в наши времена чумы и кровавостей, когда каждый день — это Праздник Смерти, когда мы видим мертвецов, сваленных в кучи на улицах без различия сословий, разлагающихся на телегах, сброшенных в общие ямы вместо могил. Да, миновало уже несколько лет, но тут, на севере, новая вспышка, и эта чума так сильна, что даже зима не может ее остановить. Поля лежат невспаханные, многие умирают от голода, они падают где стояли, и их спешно закапывают по темным углам. Шайки разбойников наводнили страну, крестьяне бегут, воины возвращаются из Франции с полей нескончаемых сражений — люди, с детских лет не знавшие ничего, кроме убийства. В приходах не уцелело и половины людей. И лишь немногие будут знать, где похоронены те, кого они любили. А тут столько забот о прахе одного бедного комедианта.

Больше почти ничего о нем сказано не было, ни тогда, ни после. Они спели то, что было его эпи-

тафией. И больше никаких споров о том, везти его с собой или нет. Тут же его подняли, и он был уложен среди масок и костюмов со свернутой веревкой под головой и укрыт полосами алого сукна, которые они возили с собой, чтобы вешать как занавес в глубине сцены. Затем мы тронулись в путь. Вот так я начал свою жизнь комедианта.

Глава третья

Все последующие дни Брендан оставался в повозке, и мы накрывали его досками и мешковиной, чтобы уберечь от крыс во дворах придорожных харчевен, где мы останавливались на ночлег и спали то на соломе в сараях, то все вповалку на тюфяках в жалких каморках лачуг, гордо именовавшихся гостиницами. Мартин платил за все из общего кошеля. Денежного пояса он с себя никогда не снимал, а кинжал всегда был у него под рукой. Кошелек был тощ, а предстояло заплатить за похороны Брендана. Ни у кого из комедиантов денег не было, кроме Тобиаса, очень бережливого. Остальные уже потратили свои доли заработанных денег. На протяжении этих дней нам на пути не попалось ни единого места, достаточно многолюдного, чтобы имело смысл устроить там представление. Грабежи и чума превратили деревни в жалкие хуторки, дома стояли пустые, почти разрушенные, улицы тонули в мусоре от развалин. Снег все еще не шел, но погода стояла по-прежнему холодная, оберегая труп Брендана от тления.

Все это время Мартин без устали обучал меня. Он наставлял меня, пока мы были в пути. Обычно все шли позади повозки, а конягу вели по очереди. Он рассказывал мне о качествах, потребных комедианту: находчивость, легкость движений, бойкий язык для ролей, написанных лишь частично. Он показал мне тридцать движений руками, и каждое требовалось выучить, и заставлял меня повторять и повторять их, всегда пеняя меня за неуклюжесть, за скованность запястий и плечей. Жесты эти должны были выглядеть такими же естественными и непринужденными, как обычные движения головы и членов. Вновь и вновь он заставлял меня проделывать их, пока они не приобрели достаточную плавность, а кисти и пальцы удерживались под положенным углом. В этих наставлениях он был столь же беспощаден, как и во всем другом. Легчайшую его похвалу необходимо было отрабатывать вдвойне. Он гордился своим искусством и защищал его со страстностью — страстность была ему присуща во всем. Его отец был комедиантом и вырастил его таким.

Для моего обучения использовался всякий удобный случай. Как только мы останавливались, он заставлял меня практиковаться. Когда мы

устраивали полуденный привал, чтобы съесть наши куски сыра с ржаным хлебом и кровяной свиной колбасой, запивая жидким элем; в убогих приютах, где мы оставались на ночь, и усталости вопреки — об усталости Мартин забывал в пылу своих наставлений. Он дал мне игру об Адаме, чтобы я заучил — страницы были истрепаны, а рука скверной, — я обещал сделать хорошую копию, когда время позволит.

Все они помогали мне, каждый на свой лад. И каждый тем самым открывал мне что-то о себе. Соломинка был прирожденным мимом и очень в этом одаренным. Он мог стать мужчиной или женщиной, молодым или старым без всякой помощи слов. Он странствовал один, пока Мартин не увидел его на ярмарке и не принял в труппу. Он был странным парнем, легко возбуждавшимся, очень непостоянным в настроениях, с припадками угрюмой немоты. Один раз он упал на дороге, извиваясь всем телом, и Прыгун держал его и утирал ему рот, пока он снова не пришел в себя. Трижды он для меня изображал путника, которого ограбили, обучая меня важности движений головы, и четкости жестов, и тому мгновению, когда мим застывает без движения и смысл выражается через неподвижность.

Прыгун говорил, что ему пятнадцать лет, но без уверенности. Он исполнял женские роли. Он умел петь высоким голосом, а лицо у него было словно гуттаперчевым — он мог растягивать его по всем направлениям и вытягивать шею, будто гусь, да так, что вы смеялись всякий раз, сколько бы он это ни проделывал. По натуре он был кротким, и робким, и беззлобным. Он дружил с Соломинкой, и обычно они держались вместе. Происходил он из семьи жонглеров — его отец, акробат, бросил его, когда он был еще малым ребенком. Пока мы шли, он прямо на дороге в назидание мне ходил колесом и кувыркался. Он умел изогнуть спину обручем, касаясь земли только пятками и затылком, а затем из этой позы прыгнуть вперед и встать прямо. Мне нечего было и надеяться проделать такое, однако в кувыркании я упражнялся, когда мог. Я гибок, легок на ногу и приобрел неплохую сноровку; Соломинка и Тобиас держали веревку на высоте, которую мне полагалось достичь.

Мне казалось, что Стивен уступает в сноровке этим двум. Она его не заботила так, как их. Но он был высок, обладал звучным басом и хорошо запоминал строки ролей. Роли эти требовали достоинства и величия — Бог-Отец, царь Ирод во

гневе, архангел Михаил. Несколько лет он был лучником на службе у Сэндвиллов, графов Ноттингемских — тех самых, кому принадлежала эта труппа. Для них он участвовал в набегах, для них он сражался сначала против сэра Ричарда Деймори, а потом против графа Марча. В стычке его захватили люди графа Марча и отрубили ему первый сустав правого большого пальца, чтобы больше ему не быть лучником, вынудив его искать другое ремесло. Сделано это было по приказанию их лорда, тем не менее Стивен почитал знать и гордился своим участием в ее кровавых смутах. «Я знавал людей, которым выкалывали глаза, — говорил он. — Мне повезло». В сумке у пояса он хранил бронзовую медаль с изображением святого Себастьяна, покровителя лучников. И было величайшим знаком дружбы с его стороны, когда на третий день пути он показал мне эту медаль, а также и свой изуродованный палец.

Маргарет странствовала с нами ради него. Они постоянно ссорились, хотя в те дни, как мне сказали, реже обычного, так как у них не было денег, чтобы напиваться. Прежде она была шлюхой и особенно этого не скрывала. Язык у нее был грубым и острым, руки добрыми и умелыми. В представлениях она не участвовала вовсе, и

очень мало — в обсуждениях наших дел. Свое место она отрабатывала стиркой, починкой одежды всех нас и стряпней, когда было что положить в горшок. А последнее часто зависело от шестого в нашей компании.

Тобиас играл Род Человеческий и по нескольку мелких ролей сразу; а еще представлял демонов. Кроме того, он умел играть на барабане и волынке. Во всем он придерживался практической точки зрения, а потому к нему прислушивались. Он был нашим подручным, приглядывал за конягой, чинил повозку по мере возможности, ставил проволочные силки на кроликов, а иногда сбивал своей пращой рябчика или куропатку. Он терпеливо старался обучить пса вспугивать дичь, но до сих пор без всякого успеха; пес старался, но его отличала безмозглость. Тобиас научил меня падать и не ушибаться. О своем прошлом он никогда не говорил.

Шут Дьявола, роль, которую я унаследовал от Брендана, по традиции должен быть еще и жонглером, но научиться этому в срок я не мог и надеяться. Все, что было мне по силам, я делал, упорно практиковался при всяком удобном случае, чтобы не разочаровать их, и в особенности Мартина, которому был больше всего обязан

тем, что они меня взяли. А кроме того, он мне нравился. Была в нем нежность чувств. И он был постоянен, хотя постоянство это всегда оказывалось припряженным к его собственной воле и целям. Я лелеял его редкие похвалы и повторял их про себя, когда вел одра или когда на ровной дороге приходила моя очередь ехать с Бренданом, а также порой и ночью, когда лежал без сна. Я поставил себе целью преуспеть, стать настоящим комедиантом.

Я узнал от них, что Роберт Сэндвилл, их патрон, сейчас во Франции сражается за короля. Они принадлежали ему и были обязаны устраивать представления в зале его замка, когда он пожелает, и в таких случаях им платили жалованье. Но теперь случалось это редко. Большую часть года им приходилось странствовать. У них имелась грамота Сэндвилла, но пока они находились вне пределов его владений, он им не платил. Теперь же в отсутствие супруга их госпожа послала их, как рождественский подарок, устроить представление для ее родича сэра Уильяма Перси в Дареме. Они надеялись, что будут там щедро вознаграждены.

— Если доживем, — темно сказал Стивен.

Ноги нас еле держали, и в холмистом краю к

северу от Йорка проходить за день нам удавалось немного.

Затем Брендан еще раз решил нашу судьбу. Накануне он начал смердеть. В повозке рядом с ним это было особенно заметно: от толчков тело под красным сукном тряслось, и запах его тления в морозном воздухе был несомненным и тяжелым. С каждым часом вонь становилась все крепче, а у нас не было ни масел, ни эссенций, чтобы заглушить ее. Возникли опасения, как бы его разложение, прежде чем мы доберемся до Дарема, не запечатлелось на костюмах и занавесе, необходимых для представления. Мартин созвал совет, чтобы обсудить это дело, и мы расселись у края дороги. Погода была сырой, сгущался туман, и мы совсем пали духом.

— Смердеть смертью — к беде, — сказал Соломинка и угрюмо поглядел на кучу костюмов, под которой лежал Брендан. — Наша игра будет погублена, — сказал он. Он легко поддавался унынию, а неудачи боялся больше, чем все остальные.

— Стирка тут не очень поможет, — сказала Маргарет. — Да и часть костюмов стирать вообще нельзя. Как выстирать костюм Антихриста, если он из конского волоса?

— Он уже смердит и без помощи Брендана, —

сказал Прыгун. Именно в это одеяние он кутался от холода, как в шаль. — Смердит рвотой, — сказал он, встал в сердцах и ушел рассерженный, что случалось с ним очень редко.

— До того, как мы туда доберемся, — сказал Тобиас, — еще до того, как, мы доберемся до Дарема, его смердение не станут терпеть там, где мы будем останавливаться.

— Послушай вы меня, — сказал Стивен, — не было бы у нас сейчас такой заботы. Но и сейчас не поздно. Не надо нам везти его дальше. Давайте оставим Брендана здесь, и земля его всосет, потому что он вот-вот начнет разжижаться, как бы мы ни старались.

— О том, что делать с Бренданом, мы решили в тот раз, — сказал Мартин, — и то, что он завонял, ничего не меняет. Просто похоронить его надо поскорее.

Мартин сказал это с обычной бесповоротностью, только легче нам не стало, и мы сидели в молчании, но тут вернулся Прыгун.

— Совсем близко город, — сказал он. — Вон в той стороне и пониже нас. — Он махнул рукой через дорогу.

Мы все посмотрели туда, куда он указывал, но ничего не увидели.

— На той стороне, — сказал он, и мы всей гурьбой перешли дорогу и последовали за Прыгуном по короткому склону холма, поросшему травой, которую овцы ощипали по самые корни. Поглядев с гребня на запад, мы увидели широкую долину, густой лес в ней, струящуюся по ее дну прямую реку, а за рекой — городские крыши в гирляндах древесного дыма, башни и донжон замка на взгорье за городом. Снизу его застилал туман, но мы разглядели парапет и развевающиеся длинные флаги. И мне почудилось, что некие блики коснулись этих крыш, а также башен замка, как тот свет, который пролился, когда они пели над Бренданом. Где-то высоко на стене вспыхнул отблеск, возможно, от лат. Некоторое время мы молча смотрели на сверкание воды за голыми ивами, на окутанные туманом дома за ней. И пока мы смотрели, послышался колокольный звон, далекий, еле слышный, будто содрогания воздуха.

В этом крылось предназначение, как и в моей встрече с ними. В том, что невежда считает случайностью, мудрый видит предзнаменование. Прыгун убежал от нас в обиде, что с ним бывало редко. Он подчинился порыву перейти дорогу, взобраться по склону. Там был город, там был

замок, звонили колокола. Никто из нас понятия не имел, как называется этот город. Значит, дар судьбы. Но дары ведь порой оборачиваются злом. Предоставляю тем, кто до конца прочтет мои слова, самим судить, был ли этот город подарен нам во благо или на беду.

Мы тут же приняли решение. Свернем в город, похороним там Брендана и представим Игру об Адаме для пополнения нашего кошеля. Мартин вел счет дням и сказал, что нынче День святого Лазаря[4] и, значит, люди отдыхают от трудов. И у нас достаточно времени, чтобы добраться в Дарем к сроку.

До города было около трех миль по дороге, полого опускавшейся в долину. Когда наш путь подходил к концу, мы сделали привал, чтобы подготовиться к вступлению в город. Мы задали коняге овса, напоили его и выпрягли, чтобы он отдохнул перед тяжким трудом: везти по городским улицам ему предстояло не только Брендана.

Костюмы, в которые мы оделись, предназначались для разных Игр и выбраны были только ради привлечения зрителей. На середине повозки очистили место, и там встал Стивен как Бог-Отец,

---

[4] Сноски: 4
17 декабря.

в длинной белой мантии, с золоченой маской во все лицо и тиарой на голове вроде папской, склеенной из бумаги и покрашенной в красный цвет. Рядом стоял Мартин, одетый Змием до падения, все еще обитающим в Эдеме, с крыльями из перьев и в улыбающейся солнечной маске.

Мы, прочие, шли либо по сторонам повозки, либо позади. Прыгун в одеянии Пресвятой Девы, перепоясанном на талии, и в желтом, выкрашенном шафраном парике. Соломинка изображал Модника в белой полумаске, в сюрко с рукавами, волочащимися по земле, и острым капюшоном. Тобиас как Род Человеческий был без маски, в простой тунике и шапке. Ну а на меня надели власяницу Антихриста с рогатой маской Дьявола, вооружили трезубцем, чтобы я угрожающе тыкал им по сторонам, злобно бормотал и шипел. Это была моя первая роль.

Брендана мы уложили у заднего края повозки, завалив его нашей одеждой и придавив ее медным подносом. Повозку мы обвесили красными сукнами и заложили одру за уши красные розетки. Маргарет вела его медленно и плавно, чтобы не опрокинуть Бога и Змия. Она тоже прифрантилась — надела потрепанное голубое платье с рассеченными рукавами, а волосы причесала и

подколола. Чуть мы вступили в пределы города, как добавили к зрелищу еще и разнообразие звуков: демоны и ангелы состязались в музыке. Прыгун играл на своей тростниковой дудочке, а Змий на виоле, Род Человеческий отбивал такт на барабане, а Бог отмечал паузы с помощью тамбурина. Для заглушения небесных звуков меня снабдили сковородой и железным половником, и я лязгал во всю мочь, а Соломинка гремел палкой по подносу над Бренданом, изображая гром. По временам, когда гармония и какофония достигали кульминации и было неясно, за кем останется победа, Бог поднимал правую руку ладонью вперед, слегка согнув пальцы в жесте, требующем тишины, и демоны сразу переставали лязгать и греметь.

Вот так, чередуя порядок с хаосом, пока тощий коняга вскидывал голову в такт музыке и грациозно вышагивал, видимо, по давней привычке, а пес, привязанный к повозке сзади, заливался лаем, вот таким манером мы торжественно двигались по улицам города, пока не добрались до рыночной площади с гостиницей на одном углу.

Не знаю, как другие, а я обрадовался, что мы добрались туда. Власяница была жаркой и липла к телу, маска, склеенная из нескольких слоев бу-

маги, была плотной и душной. В прорези для глаз смотреть было трудно, а вбок и совсем невозможно. Я должен был тыкать трезубцем и шипеть, пока музыка была небесной, кроме того, быть наготове со сковородой и половником, когда Соломинка подавал сигнал ударом по подносу, и притом еще одним глазом следить за Богом, чтобы сразу же прекратить шипение и лязг, едва он поднимет ладонь. У меня голова шла кругом от грохота и лязга и от мельтешения лиц по сторонам — кто пялил глаза, кто хохотал, кто разевал рот, присоединяя свои вопли к шуму, который поднимали мы. И вот тогда-то я понял — урок, который приходилось заучивать вновь и вновь в следующие дни, — что комедиант всегда в ловушке своей роли, но он не может допустить, чтобы зрители это заподозрили, они должны всегда думать, будто он свободен. И великое искусство комедианта состоит не в том, чтобы показывать, а в том, чтобы скрывать.

Мое смятение усугублялось ощущением, что моя маска и старая облезлая власяница уже пропитались смрадом Брендана. Мне пришло в голову, что, может быть, моя маска и мой костюм лежали вплотную к нему, и я спросил себя, не думают ли того же и другие. Мы ведь должны

были прятать его запах, как прятали его тело.

С нами в город явилась Смерть, это бесспорно. Смерть ехала в нашей повозке, она витала над нашими одеяниями и музыкой, пока мы соблазняли зевак прийти на наше представление. И столь же верно, что Смерть поджидала нас там, ибо она может быть и там, и тут в одно и то же время. По милости Божьей я вышел из этого города живым, и Смерть все еще дожидается меня. Но время нисколько не затуманило это воспоминание: наше шумное вступление в город, душная маска и зловонное одеяние Антихриста. И страх небытия.

Глава четвертая

За пять пенсов мы сняли сарай, примыкавший к коровнику во дворе гостиницы, где могли хранить вещи, а также ночевать. Пять пенсов были чрезмерной платой за такой кров, но хозяин отказался взять меньше.

— Стану я торговаться из-за пенса с шайкой скоморохов, — сказал он и утер руки о засаленный фартук. — В хлеву коровы стоят, не то я бы шесть запросил, — сказал он.

Этот хозяин гостиницы был низколобый дюжий мужчина, косой на один глаз. Он нас презирал и не скрывал этого, хотя и мог подзаработать на нашем представлении, которое мы собирались устроить во дворе гостиницы. Но он был из тех, кто бахвалится перед теми, кого презирает, словно оправдывая свое презрение.

— Не наймете сарай, так другие наймут, — сказал он. — С чего мне торговаться с бездомными бродягами, когда мне надо приготовить комнаты для королевского судьи, который с часа на час прибудет из Йорка?

Мартин ничего на это не сказал, только холодно

поглядел ему прямо в глаза. Он снял ангельскую маску, но крылья еще были на нем. Я остался в маске, боясь снять ее из-за тонзуры, и сквозь прорези увидел, как Прыгун обменялся взглядом с Соломинкой, и Соломинка скосил глаза, передразнивая хозяина, и вытер руки о воображаемый фартук, скрестив их, что выглядело особенно смешно, так как он еще был в костюме Модника, но хозяин, к счастью, ничего не заметил. Мне хотелось спросить, почему судья вдруг едет сюда в такое время года, и, наверное, я спросил бы, вопреки маске, закрывавшей мне рот, но он оставил нас, чтобы прогнать слепца, который зашел во двор просить милостыню. С ним была маленькая девочка-оборванка, и она помочилась у стены.

Когда хозяин вернулся, мы согласились заплатить пять пенсов, и Мартин отдал ему монету. Сарай стоял пустой, пол был земляным, но сухим, а кровля крепкой, как и дверь с железным засовом и висячим замком. Последнее было для нас особенно важным, так как мы очень опасались воров. Все состояние труппы заключалось в костюмах, масках и в том, что требовалось для подмостков. Все это приобреталось годами, что-то сделано, что-то куплено, что-то (откуда мне было знать?), возможно, приобретено именно тем

способом, остерегаться которого приходилось нам теперь.

Мы переоделись и разгрузили повозку, сняли с нее всё, включая Брендана. Его мы унесли все вместе под сукнами и положили в углу. Тут, внутри, среди запахов навоза, мокрой соломы и утрамбованной земли, его присутствие было незаметнее.

Во дворе было полно приходящих и уходящих людей. Посередке, разговаривая, стояла кучка воинов в панцирях. В аркаде со стороны гостиницы сидела старуха с лотком пуговиц, а возле стояли две девушки с зелеными квадратами, вшитыми в рукава и оповещавшими, что они шлюхи. Слепец и его девочка вернулись. Из верхних комнат донеслись крики гостей, требующих того-сего, и через двор к лестнице, которая вела на галерею, пробежал слуга. Напротив конюх пытался завести в стойло вороного скакуна, но конь был норовистый, от шума и суеты вокруг он заартачился, вздыбился, начал шарахаться от препятствий, видимых ему одному, и его копыта барабанили по булыжникам, выбивая искры. К седлу был приторочен турнирный щит с гербом — свернувшаяся змея, голубые и серебряные полосы. Немолодой оруженосец с обнаженной

головой и в легкой кольчуге под коричневым сюрко подошел к коню, заговорил с ним и успокоил. Он был в дорожной пыли и грязи, а на груди его сюрко был значок с полосами тех же цветов — голубого и серебряного. Я услышал, как он крикнул хозяину, чтобы тот прислал вина ему и рыцарю, которому он служил.

Для меня все это было точно ярмарочное представление. Вокруг все было мне чужим, ибо никто не знал, что я такое. Я и сам не знал. Беглый священник остается священником, но неопробованный комедиант — что он такое? Теперь без маски я мог дышать и видеть свободно. Но я оставался в стороне, непричастным, как положено зрителю. И мне подумалось, что и эти люди, которые, казалось, были вольны двигаться по двору как хотели, на самом деле были понуждаемы вести себя так и только притворялись свободными, как притворялись и мы сами, когда устроили нашу процессию через город.

Тут Мартин с Тобиасом в качестве свидетеля отправились сообщить о приключившейся смерти и уговориться со священником. Нам, остальным, хватало дела. Брендан продолжал доставлять нам хлопоты. Отнести его в церковь в моем духовном одеянии было нельзя, а нагим и тем более. На

него пришлось надеть его собственную одежду — и вновь этим занялась Маргарет и была с ним так же бережна, как прежде. Сутану повесили на балке проветриваться — теперь она поступила в наш общий гардероб. А я надел тунику и куртку-безрукавку Рода Человеческого и шерстяной колпак, заимствованный у Стивена. Колпак был мне великоват и все время съезжал на глаза.

Только-только мы с этим управились, как тот же конюх принес солому и рогожи нам на постели. Еще и половины дня не миновало, но свет уже начинал меркнуть. Мы со Стивеном стояли у двери сарая. Я по натуре любознателен и легко завязываю разговор. И я спросил конюха про оруженосца и его господина.

— Они тут ночуют, — сказал он, такой молоденький, круглолицый, простодушно важничающий, потому что знал то, чего мы не знали. — Они нынче приехали из Дарлингтона, а это добрый путь, — сказал он. — Он рыцарь, и у него лен в долине Тиз, как я слышал. Они либо бедные, либо скупые, оруженосец дал мне всего пенни.

— Пенни неплохая плата за то, чтобы подержать одра за уздечку, — сказал язвительный Стивен. — Я вот иногда часами ее держу без всякой платы.

Однако конюх был не из сообразительных и все понимал напрямую.

— Так лошадь-то была не одна, — сказал он, начиная сердиться. — Еще надо было завести в стойло боевого коня, а такому зверюге ничего не стоит попятиться и раздавить тебя, как муху, если не держать ухо востро.

— Истинно, пенни самая малость, — сказал я. — Но, может, лен небольшой. А зачем они сюда приехали?

— Да чтоб участвовать в турнире. Шесть дней будет он продолжаться, до дня святого Стефана[5]. Наш лорд разослал весть многим рыцарям. А этот — из тех, что ездят с турнира на турнир и живут на призовые деньги. Ну, да тут ему приза не получить, раз сэр Уильям будет участвовать, а он ведь сын нашего лорда, цвет рыцарства, и его еще ни разу никто из седла не вышиб.

— А кто ваш лорд?

— Так ведь, — сказал он, и на его простодушном лице отразилось удивление перед нашим невежеством, — это же лорд Ричард де Гиз, и он держит этот город и всю землю на восток до моря. Он повсюду славится раздачей милостыни

---

[5] Сноски: 5
26 декабря.

сирым, а еще тем, как карает преступников, и благочестивой жизнью. Таких, как вы, он в своем замке не потерпит.

Значит, вот чей замок мы видели утром с дороги. И я вновь словно увидел перед собой скученные дома под пологом дыма, зубцы парапетов и выше за ними длинные флаги, поднимающиеся к свету, и отблеск металла между зубцами.

Он было отвернулся, и тут я сказал по причине всего лишь праздного любопытства, ибо это не шло у меня из ума после разговора с хозяином:

— И ведь ко всему к этому вы еще судью ожидаете, так что хлопот не оберетесь.

Свет теперь меркнул с каждым мгновением. В скобы на стенах, выходивших во двор, втыкались зажженные факелы, а в комнатах замерцали огоньки. Пламя факелов отбрасывало неровный свет на темный камень стен, отражалось от мокрых булыжников. Позади себя я слышал дыхание коров.

— Что такое могло привести судью из большого города в малый городок перед самым Рождеством?

Лицо конюха скрывала тень, но когда он повернулся, по нему скользнул свет, и я увидел, что его выражение изменилось, стало скрытным.

— Уж не знаю, — сказал он. — Суд-то закончился. Ну, я пойду. Меня сверху позвали.

— Лучше сверху, чем снизу.

Это, захлебнувшись смехом, сказал Соломинка, который вышел из сарая позади нас. Внутри они зажгли факел, и его растрепанные волосы дыбились светлым нимбом.

— Какой суд? — сказал я. — Или тут было совершено преступление?

Конюх заколебался, но возможность похвастать своей осведомленностью взяла верх над осторожностью.

— Господи помилуй, еще как было! Томаса Уэллса убили. Нашли его позавчера на дороге за городом. Шериф признал виновной дочку Роджера Тру, и ее повесят.

Имена он называл так, будто все должны были их знать.

— Значит, он ее бросил, — сказала Маргарет, словно причина могла быть только одна. Она тоже вышла к нам из двери. — Значит, наигрался с ней.

— Но если ее уже признали виновной, — сказал я конюху, — зачем же судье приезжать сюда со всей своей свитой?

Он ничего не ответил, только покачал головой

и быстро ушел от нас под арку и скрылся в двери гостиницы.

— Правосудие в этом городе вершится быстро, — сказал Соломинка. — Всего два дня, как его нашли на дороге, а женщину уже судили и приговорили.

Больше ничего тогда об этом деле сказано не было, и я решил, что убийство это никак нас не коснется, но я ошибся. Тут вернулись Мартин с Тобиасом. То, что им предстояло нам сказать, подействовало на них по-разному. Тобиас казался рассеянным и думал словно бы только о своем псе, а Мартин совсем побелел от гнева. Священник, жирный лентяй, еле ворочающий толстым языком — обычная презрительная насмешка над тем, кто в движениях неуклюж, а в речах не боек, — этот священник запросил четыре шиллинга за погребение Брендана. Они искали его в церкви, и человек, нарезавший омелу к Рождеству, показал им его дом. Дверь открыла молодая женщина.

— Его сожительница, — сказал Тобиас.

— Быть шлюхой попа! — сказала Маргарет, встряхнув головой. — Думается, она не была одета, как домоправительница.

Сумма оказалась куда больше, чем кто-либо из

нас ожидал. Он запросил шиллинг за место на кладбище, два пенса могильщику и два шиллинга десять пенсов себе.

— Двухнедельная плата поденщику, — Соломинка провел рваным рукавом по поблескивающей щетине на лице, — за то, чтобы побормотать над ямой и прахом, которым ее заполнят.

— Это опустошило общий кошелек, — сказал Мартин. — У нас осталось восемнадцать пенсов и полпенни.

— Так, значит, вы согласились? — сказал Стивен. Он был из тех, кто всегда готов спорить и осуждать, и теперь гнев Мартина обратился на него.

— Ты опять недоволен? — сказал он.

Мартина в ярости следовало остерегаться. Он не давал ей выхода в жестах или криках, что было странно, так как он умел жестами выразить любое притворное чувство, а к тому же чувства комедиантов становятся подлинными через притворство. А вот подлинный гнев был будто страдание, которое надлежало сдерживать. И выразить его он мог только через эту боль сдержанности. А за болью всего на волосок таилась кулачная расправа.

— Мы все согласились, еще прежде, чем при-

ехали сюда, — сказал Прыгун. — Разве ты не помнишь, Стивен?

— И мы не назначали предела цене, — сказал я, впервые присоединяясь к спору, чувствуя, что теперь имею на это право. — Как верно то, что ignorantia juris поп excusat[6], так же можно сказать о цене, pretium, и это принцип, важный, как…

— Так я и знал, что скоро мы получим ушат латыни, — сказал Стивен, свирепо на меня глядя, но я не оскорбился, ибо понимал, что для него такое отвлечение было как раз вовремя, даже необходимо. И тут мне стало ясно, что все члены этой труппы играли роли, даже когда вокруг никого не было, кроме них самих. У каждого были свои слова, и ему полагалось их произносить. Без этого никакой спор вести не удалось бы, и здесь, среди нас, и во всем широком мире. Эти роли, быть может, однажды были нарочно выбраны — упрямец Мартин, Прыгун, робкий и ласковый, Стивен, спорщик, Соломинка, колеблющийся и несдержанный, Тобиас с его присловьями, голос здравого смысла — но время этого выбора осталось за пределами памяти. А теперь и я получил

---

[6] Сноски: 6
незнание закона не является оправданием *(лат.).*

свою роль в этой труппе. У меня были мои слова, которые я должен был произносить. В моей роли мне полагалось читать мораль и сдабривать речь латынью и сводить все к отвлеченностям, чтобы Соломинка мог защемить свой нос и умудренно кивать в насмешку надо мной, а Стивен мог свирепо глядеть на меня, а Прыгун смеяться, а гнев Мартина быть обузданным. Роли не имела только Маргарет, которая была лишена голоса и на подмостках, и среди нас.

Мартин медленно отвел взгляд от Стивена.

— Черви, жрущие тело прихода, — сказал он. — Столь же мало знакомые с доктриной, сколь и с милосердием. Они умудрены только в том, как спать в исповедальне, как напиваться и как исторгать свою десятину. Потому они подсобляют знати, а простой народ держат привязанным к земле.

Его слова оскорбляли Церковь, но я не стал его опровергать. По правде говоря, с тех пор как я занялся ремеслом комедианта, мне хотелось преуспеть в нем, а кратчайшим путем к неудаче было бы противопоставить себя им. Подчиняться времени — знак мудрости, как мог бы сказать Тобиас, время же назначило мне песни, а не проповеди.

К тому же его слова о деревенских священниках были во многом справедливы — во всяком случае, справедливы в отношении многих из них. Среди них полно невежд, не способных истолковывать тексты. Они живут в открытом конкубинате[7] и берут с людей плату за исполнение своих обязанностей. В некоторых приходах священник не станет причащать, не получив сперва плату деньгами или натурой. Что до других его обвинений о пособничестве лордам в удержании работников на земле, я и на них не возразил, да только это купцы и цеховые мастера в Палате Общин вводят законы, которые запрещают повышать плату и мешают людям искать работу у новых хозяев. Людей хватают и клеймят как беглых, выжигая клеймо на лбу, за то лишь, что они без разрешения оказались за границей владений своего лорда. Но не Церковь вводит этот закон. Разумеется, правда, что Церковь не одобряет бродяжничества и всегда содействует тому, чтобы люди оставались на своих местах. Где достаток, там стабильность, а где стабильность, там религия — ubi stabilitas ibi religio.

Как я сказал, отстаивать священников я не стал.

---

[7] Сноски: 7
сожительство *(лат.)*.

Мне не хотелось защищать того, кто потребовал такие деньги, ведь мы все равно пострадали от его алчности. С другой стороны, они знают, что я ношу сан, они заметят мое молчание, они сочтут меня жалким трусом.

— Священнослужители бывают разными, как все прочие люди, — сказал я. — Они такие же разные, как и комедианты.

Теперь заговорил Тобиас, в первый раз после их возвращения.

— Хорошие и дурные есть в каждом сословии, — сказал он, — и все они нужны для существования мира. А что до священников, то в городе случилось убийство. За него должны казнить женщину, а донес на нее монах.

Мартин ухватился за это, словно искал перемены.

— Мы слышали, как про это говорили на паперти, — сказал он. Говорил он негромко, и глаза его были смутными, как бывает, когда угасает страсть. — Он духовник здешнего лорда и живет в замке. Он бенедиктинец.

Мне сейчас вспоминается это слово и его лицо, угасшее вместе с яростью, и отблески факела, скользящие по соломе, на которой мы сидели. Я слышу движения и дыхание коров. Запах их

навоза и пропитанной их мочой соломы, мешающийся с темным смрадом Брендана в его углу. Маргарет сидит, раздвинув ноги, штопая прореху в балахоне Адама, повернув лицо к свету. Раздвинутость ее ног под юбкой смутила мой дух, и я помолился об избавлении от зла. На крюках и гвоздях по стенам развешаны наши маски, и полотнища занавеса, и костюмы. Крылья Змия, головной убор Папы, накидка Шута. Власяница свисает с балки, как огромный нетопырь. Сарай преобразился в приют чуждости. Медный поднос был прислонен к одной из стен, отблески факела прокатывались по нему волнами ряби, будто его поверхность сплавляла воедино краски — синеву и золото и алость стеклянных бус Евы и ее парика, висевшего рядом с ними. Эти переливы цветов и отблески и едкий дым факела туманили мой взгляд.

— Мы говорили про это с конюхом. — Соломинка посмотрел вокруг бегающими глазами, его растрепанные волосы вспыхивали в отблесках факела. — Ему не хотелось говорить про это, — сказал он, — хотя обо всем другом он рассказывал охотно.

— Это был грабеж, — сказал Тобиас. — У нее в доме нашли деньги. Монах нашел.

— Ну, на деньги нюх у них хороший, — сказал Стивен.

Времени на разговоры больше не оставалось, нам надо было переодеться и приготовиться показать Игру об Адаме. И я робел, в груди теснило, в мыслях не оставалось места ни для чего другого. Но тень этого преступления уже тяготела над нами, хотя тогда я этого не знал. И она все еще тяготеет надо мной.

Глава пятая

Беды того дня еще не кончились. Пока мы готовились к представлению, в гостиницу под грохот барабанов и завывание волынок явилась компания жонглеров, и они сразу же принялись готовить свое зрелище у стены напротив входа во двор, самое лучшее место.

Мартин, уже в коротком белом балахоне Адама до Падения, вышел из сарая и увидел, что к стене привязан медведь, канатоходцы разворачивают свои циновки, а силач выгружает цепи из тачки. Несколько мгновений он стоял там, на холоде, босой, и не двигался, будто не веря глазам. Затем быстро направился к ним. Следом я и Стивен, он уже в длинном одеянии Бога. Нас было куда меньше — у них имелись еще глотатель огня, уже раздувавший пламя под своей жаровней, и семья акробатов.

Жонглеры странствуют большими компаниями и развлекают людей где случится — в залах замков, на турнирах и состязаниях лучников, на ярмарках и в базарные дни. В этом они сходны с комедиантами, но в отличие от нас у них нет

старшого, предлагаемые ими зрелища не связаны воедино, и они могут объединяться и разбредаться как им заблагорассудится.

Вместо старшого Мартину пришлось долго искать кого-то, чтобы оспорить место. Он избрал акробатов, потому что это была семья — мужчина, женщина и двое дрожащих наголо обритых мальчишек. Он сказал мужчине, что место тут уже занято, и сначала говорил в умиротворяющем тоне, не грубо, хотя и с видимым усилием сдерживаться. Но тот заспорил, женщина визгливо поддержала его, и силач, сообразив, что происходит, бросил цепи на булыжник с оглушительным лязгом и направился к нам. Это был дюжий детина, выше Стивена и шире в плечах и всем телом, хотя во многом за счет жира. Он был лысый, на редкость безобразный, с медным кольцом в ухе. Подходя, он зафыркал, как борец, и вскинул руки, словно намереваясь обхватить Мартина. Думаю, на самом деле это была лишь угроза, чтобы напугать нас, но, прежде чем он покрыл последние два ярда, Мартин сделал шаг навстречу и ударил его ногой, слегка повернувшись, так что ударил пяткой и очень высоко для удара с места — в левый бок, чуть пониже сердца. Он не упал, но перегнулся пополам, стараясь пе-

ревести дух, и все могли слышать эти старания.

Какой оборот приняла бы дальше драка, я не знаю. Стивен, буян по натуре, вышел вперед, Мартин занес кулак и ударил бы снова, пока преимущество оставалось на его стороне. Но тут во двор вышел хозяин гостиницы в сопровождении дюжего слуги и сказал, что место наше, потому как оно нам обещано и еще потому, что мы сняли коровник во дворе и он получил за него деньги, тогда как от жонглеров не получил ничего, а к тому же он знает, что ничего с таких людей получить не сможет, ведь они за вход со зрителей не берут, а обходят их со шляпой. (Так делали и мы на открытом месте, но другое дело — здесь, в огороженном дворе.)

Канатоходцы принялись скатывать свои циновки, акробаты хмуро переговаривались между собой. Силач отступил к своей тачке, кляня нас и суля месть. Хозяин поспешил воспользоваться неожиданным преимуществом и тут же потребовал с нас четверть сбора за использование двора и за то, что отстоял наше право.

Кровь отлила от лица Мартина, хотя я не мог решить, было ли причиной столкновение с жонглерами или новое требование хозяина гостиницы — к деньгам он относился с той же

страстностью, как и ко всему другому. Я ожидал, что он заговорит, начнет возражать, но в то мгновение сила чувств парализовала его, как это случается с некоторыми натурами, и он промолчал, совсем побелев.

Теперь подошли остальные, и каждый принял случившееся на свой лад. Прыгун, уже в костюме Евы, с круглыми от страха глазами под льняным париком, попытался отвлечь нас, гордо расхаживая и прихорашиваясь. Соломинка онемел — я думаю, из-за симпатической близости к Мартину: он обладал натурой, подобно магниту притягивавшей чувства других, они его переполняли, а телом он для них был слишком щуплым. Теперь он смотрел остановившимся взглядом, в волнении обхватив себя руками, и выглядел очень странно в своем одеянии с крыльями Змия перед Падением. Тобиас, знавший Мартина лучше, чем мы, остальные, обнял его за плечи одной рукой и негромко заговорил с ним. Так что торговаться с хозяином досталось Маргарет. Она сказала, что ничего больше ему не положено, так как он сговорился с нами о плате за сарай и использование двора и больше ни о чем не упоминал. Он ответил с рассудительным видом человека, считающего себя безоговорочно правым: он ведь тогда не

знал, что на двор найдутся другие желающие.

Тут уж я не мог не вмешаться. Этот алчный пройдоха в довершение всего понятия не имел о логике — вина непростительная, по моему мнению.

— Суть любого договора заключается в том, — объяснил я ему, — что заключающие его стороны делают это равно в духе posse, а не только esse[8]. Ссылка на новые обстоятельства, ранее не указанные, это пустая трата слов и обман. Если бы все вели себя, как ты, никакие обязательства не имели бы силы.

В ответ он только назвал меня хвастливым дурнем. В конце концов он согласился на два пенса с каждого шиллинга. Он сказал, что поставит у ворот своего человека, чтобы отгонять пьяных и известных буянов, однако на самом деле тому было велено следить за выручкой. Этот грабитель в обличье хозяина постоялого двора, живи он в Вифлееме, забрал бы у Иосифа с Марией их последние медяки за жалкий хлев, избранный для рождения Христа. Говорят, Иуда родился в ту же ночь…

Из-за всего этого мы потеряли много времени, и

---

[8] Сноски: 8
Здесь: что может быть… что есть *(лат.)*.

нам следовало поторопиться — зрители уже собирались. С приближением начала представления мой страх все возрастал. При наступлении темноты мы расположили факелы по стене, чтобы зрители видели нас в обрамлении света порождениями пламени. Так задумал Мартин. Пока горели только два факела, те, что посередине. Роковое Древо с бумажным яблоком, подвешенным к веточке, было прислонено к стене. Для переодевания нам служил сарай, а это значило, что нам придется проходить между зрителями.

Когда все было готово, Мартин прошел среди зрителей как Адам, чтобы произнести Пролог. Он встал между пылающими сучьями у него за спиной. Поверх белого балахона на нем был черный плащ. Ожидая в сарае, мы услышали его ясный голос:

Узнайте же, смотря, внимая,
Как Лжи Отец лишил нас Рая.

Я выглянул из-за двери сарая и смотрел, как он стоит там, озаряемый факелами сзади. Зрители иногда переговаривались, смеялись, но тут же замолкали. Собрались они не в очень большом числе, это было видно с одного взгляда: двор заполнился менее чем наполовину. Я был одет для

первой из моих ролей — подручного демона — в рогатую маску, красную перепоясанную тунику и с хвостом из веревки с железным костылем на конце. В руке я держал дьявольский трезубец для поджаривания грешников. В этой первой роли я ничего не говорил, а просто прислуживал Сатане и иногда бросался на зрителей, шипя и тыча вилами, чтобы нагнать страху. Я считал это удачей, так как получил возможность попривыкнуть к взглядам зрителей, прежде чем явиться перед ними в моей более важной роли Шута Дьявола.

Когда Мартин произнес свои слова, он быстро отошел от факелов в дальний угол нашей площадки и лег там. Укрытый темным плащом, спрятав под ним лицо, он, казалось, исчез. Еще одна его мысль. Она пришла ему в голову, едва мы увидели, как факелы размещены на стене. В том, что касалось представления, он был несравненно находчивее и быстрее всех остальных.

Теперь настал черед Стивена явиться Богом-Отцом и с величавой неторопливостью пройти между зрителями. Чтобы усилить впечатление, шел он на шестидюймовых ходулях, привязанных к его ногам под одеянием. В походке человека на ходулях есть плавная величавость, нечто негнущееся и чуть медлительное. Так Бог мог бы

ходить среди людей, и задира Стивен в золотой маске и тройной короне истинно выглядел Царем Небес, пока, произнося свой монолог, двигался из света во мрак и вновь к свету.

Вы Бога видите Отца,
В ком нет начала, нет конца,
Я вечно буду, вечно был,
Я землю с небом сотворил.
Теперь скажу: да будет свет…

При этих словах Тобиас в своей первой роли ангела-служителя, в парике, полумаске и с крыльями, временно заимствованными у Змия, прошел между зрителями с факелами и зажег остальные на стене, так что все вокруг залили потоки света. Теперь Бог расхаживал в лучах своего творения, а в углу темным бугром вырисовывался Адам.

Мы человека сотворим,
Одарим образом своим,
Пусть над зверьми земными он
Владыкой будет…

Адам выполз из-под плаща, протирая глаза. Его голые ноги выглядели красивыми, хотя и по-

крылись гусиной кожей от холода. И вот теперь появился Соломинка — Змий перед Проклятием, при крыльях, поспешно забранных у Тобиаса, в круглой, улыбающейся солнечной маске. Он прошел между зрителями, уже напевая колыбельную, которые женщины поют за прялкой. Эта песня усыпила Адама, но не сразу: он вздрагивал и приподнимался всякий раз, когда Змий на мгновение умолкал, и Змий терял терпение, и обернулся к зрителям, сделав знак нетерпения, для чего поднял ладони к плечам, сжав пальцы и поворачивая голову из стороны в сторону.

Пока зрители следили за убаюкиванием Адама, вдоль стены тихонько прошла Ева, кутая голову в темную шаль. Когда Адам наконец заснул, Бог на своих ходулях прошествовал вперед, поднял правую ладонь и быстро повернул ее в запястье в знак сотворения, и тут Ева сбросила шаль, вышла в своем желтом парике и белом балахоне на освещенное место и была рождена. Она тоже была босой. Зрители смеялись и любострастно облизывались на ее тщеславие и прихорашивания и на покачивание ее мальчишеских ягодиц, когда она прошлась перед Адамом, пока Бог не смотрел. Когда же Бог почил от дел своих, они затеяли игру в пятнашки: Адам неуклюже гонялся за ней, а

она увертывалась.

Теперь настало время мне следовать за Сатаной, которого играл Тобиас в красном одеянии, предназначенном еще и для Ирода, и в безобразнейшей красно-желтой маске с четырьмя рогами. Я шипел, и тыкал вилами, и кидался на зрителей, и хлестал позади себя хвостом с клином. Я вложил много сил в это представление, и оно произвело некоторый эффект — кое-кто из зрителей шипел в ответ, громко заплакал ребенок, а его мать выкрикивала бранные слова. Это я счел успехом, моим первым как комедианта. Но я снова подумал, что зрителей собралось маловато, и я знал, что остальные думают о том же.

Мне надо было побыстрее вернуться в сарай, переодеться в маску и пеструю накидку Шута Дьявола и взять тамбурин, так как Сатана, когда Ева сначала отказывается сорвать запретный плод, удаляется в Ад и злобствует там, и его требуется развлечь. Зрители успели меня возненавидеть. Один мужчина, когда я проходил мимо, попытался сорвать с меня демонскую маску, но я увернулся. Несмотря на холод, я обливался потом.

Внутри сарая был только Бог, он сидел на соломе и пил эль. Он выглядел угнетенным и не

заговорил со мной. Потребовалось меньше минуты, чтобы сбросить костюм демона и надеть тунику Шута, и накидку, и колпак, и бубенцы. Но и этого времени оказалось достаточно, чтобы я вновь ощутил присутствие Брендана под кучей соломы в углу. Маска у меня теперь была простой, белой, во все лицо, с приделанным длинным носом, похожим на птичий клюв. Вновь проходя между зрителями, я встряхивал бубенцами и бил в тамбурин.

Теперь я стал другим существом, и они не питали ко мне вражды. Они знали, что я острослов, а не демон. И вот тогда, проходя между людьми, встряхивая бубенцами, ударяя в тамбурин и видя, как они улыбаются, я понял то, что все комедианты узнают очень скоро: как легко меняются наши любови и ненависти, насколько они зависят от притворства и масок. В рогатой маске и с деревянным трезубцем я был их страхом перед адским огнем. Две минуты спустя все то же робкое существо, но в колпаке и в белой маске, я стал их надеждой на веселый смех.

Кроме того, я понял, какую опасность таят переодевания для комедианта. Маска дарует ужас свободы, ведь очень легко забыть, кто ты такой. Я ощутил это ускользание духа и растерялся, ибо

телесно был стеснен сильнее — маска заслоняла свет от моих глаз, а по сторонам я вообще ничего не видел. Прямо перед собой в эти узенькие прорези я видел пышную и ужасную маску Сатаны, слышал странно чужой и пустой голос Тобиаса, стенающего из-за своей неудачи и потери:

Небесный Рай я прежде знал,
За грех свой я оттуда пал.
Создав мужчину с женщиной,
Бог подарил им Рай Земной.
Но тщетны все мои старанья
Их ввергнуть в тяжкие страданья.

Я хорошо выучил песню Брендана и теперь запел ее, встряхивая тамбурином в такт и выводя мелодию как мог слаще, чтобы развеять тоску Дьявола. Вначале я чуть заикался от страха, что вызвало смех. Но затем мой голос окреп, и страх рассеялся. А когда страх умирает, рождается дерзость. Я кончил песню, но вместо того чтобы сказать заученные слова, сделал тремя пальцами знак Тобиасу, показывая, что скажу свои собственные:

Коль мир тебе б принадлежал,
Владыкой сущего ты б стал,

Владыкой жизни…

Шут соблазнял Дьявола владычеством над миром — перемена ролей, нечто новое. Тобиас, чуть задумавшись, ответил тоже собственными словами:

Коль мир принадлежал бы мне,
То предались бы Сатане
Все женщины.

И тут обеими руками он сделал знак соития. Подчиняясь какому-то порыву, я не остался стоять неподвижно, а принялся бегать вокруг него, теперь произнося заученные слова, пытаясь вспоминать движения рук и туловища, которым меня научили. Тобиас, хотя и не знал, что я затею такое, сумел сделать из этого потеху, поворачивая свою рогатую маску туда-сюда на звук моих бубенцов, всякий раз невпопад, всякий раз промахиваясь по новому направлению моего голоса. Зрители смеялись, и я присоединился к этому смеху над Дьяволом и тыкал в него пальцем, а потом споткнулся и упал, как меня научили, однако немного ушиб левый локоть. Смех стал громче, и я слушал его с радостью, не стану отрицать. Оказавшись на свету, я был ослеплен и некоторое время ничего не видел, а в моих ушах

звучал смех…

Глава шестая

Это мое первое выступление как комедианта, чувствовал я, было очень успешным. Но, присоединившись к остальным, я постарался скрыть свою радость, потому что они были в угрюмом настроении. Маргарет было поручено сторожить у ворот и собирать деньги. Собрала она шиллинг и одиннадцать пенсов, из которых содержатель гостиницы забрал три пенса и три фартинга. Наем сарая обошелся в пять пенсов. Нашего торжественного въезда в город повозка не выдержала: одно колесо искривилось и требовало починки. Тобиасу она была не под силу, и он Полагал, что заплатить за нее потребуется три пенса, не меньше. И чтобы добавить к общему кошельку, нам останется меньше шиллинга. А нас ведь было шестеро и еще коняга. А к Рождеству нас обещали в Дареме.

Вечер был ясный и очень холодный. Булыжники во дворе уже покрылись инеем, и там, куда падал свет, они блестели, как атласные. Мартин дал каждому из нас по два пенса. Прыгун достал жаровню и развел огонь, подкладывая хворост,

который мы привезли с собой. Соломинка сидел рядом с жаровней, скорчившись под одеялом. Тобиас остался в одеянии Сатаны и сидел с псом поперек колен. Никто не упоминал про Брендана. Получив деньги, Маргарет и Стивен ушли вместе.

Мы поговорили о представлении. Соломинка, всегда ценивший себя невысоко, приписал малочисленность зрителей себе и начал подыскивать других виновников. Тоскливо обхватив колени, он высказал мнение, что Бог был чересчур многословен, а Сатана слишком гладок на язык.

— Слишком мало было движений, — сказал он. — А люди не могут сидеть и только слушать так долго.

— Слушать они могут, когда есть что слушать, — сказал Тобиас, рассерженный таким порицанием его игры. — Ты хочешь, чтобы все выражалось в жестах, — сказал он, — но Игру делают слова и жесты вместе. И сегодня вина была никак не наша. Просто жонглеры отобрали у нас зрителей.

— Еву можно играть без слов, — сказал Прыгун, который сел рядом с Соломинкой, укрывшись тем же одеялом. — Я так и делал.

— Еву — да, — сказал Мартин. — И Адама тоже. Они не персонажи, а просто мужчина и женщина.

Но Богу и Дьяволу слова необходимы. — В свете факела лицо его выглядело изнуренным и голодным. Высокие скулы и узкие глаза придавали ему сходство с волком, и то, как он наклонялся вперед и горбился от холода, усиливало это впечатление. Меня поразили его одиночество и суровость, столь неразделимо смешавшиеся в нем. Бремя нашей неудачи лежало на нем, и все же он намеревался поправить нас, объяснить, что он имеет в виду.

— Бог и Дьявол — персонажи, — сказал он. — Бог — судья, а Сатана — адвокат. Для того чтобы судить и доказывать, нужны разные манеры говорить. В этом различии заключается истинное представление, если найдется кто-то, кто напишет истинные слова.

— Да, конечно, тут есть смысл, — сказал Соломинка, чье мнение управлялось его чувствами и изменялось столь же быстро, как они.

Глаза Прыгуна, едва он ощутил первый жар огня, начали смыкаться. Усталость разгладила его худое лицо.

— Что могут сделать слова? — сказал он. — Бог и Дьявол оба знают, как кончится история. — Он говорил медленно, будто сонный ребенок. — И люди тоже это знают, — сказал он.

— Они знают, как кончится история, — повторил Мартин — тоже медленно, будто в насмешку, как могло показаться сначала, но его глаза были неподвижны, а на лице появилось полуудивленное выражение, будто ему что-то стало ясно.

Он собирался сказать еще что-то, но я не стал ждать, слишком возмутило меня то, что говорил он о нашем Отце Небесном как о существе, поддающемся описанию, тем более что я следую Уильяму из Оккама, великому францисканцу, веруя, что Бог непостижим для нашего разума, пребывая в абсолютной свободе и всемогуществе.

— Никакие слова не могут приблизить нас к природе Бога, — сказал я. — Наш язык — язык человеческий, и мы создаем правила для него. Грех гордыни полагать, будто наш человеческий язык может привести нас к познанию Творца. И говорить о Боге, как говорил ты, значит нарушать седьмую заповедь.

Странное оживленное выражение теперь исчезло с его лица. Он поглядел на меня с жалостью к моему пониманию.

— Мы говорим об Играх, брат, — сказал он. — И первой сделала Бога комедиантом Святая Церковь. Священники играли Его перед алтарем и

играют по сей день, как они играют и Христа, и Его Пресвятую Матерь, а также и других святых, дабы способствовать нашему пониманию. Как комедиант Он может иметь собственный голос, но Он не может пользоваться чужими голосами. У Отца Лжи положение тут лучше, он может заимствовать язык Змия.

— Кощунственно говорить о Боге так, будто он всего лишь голос среди других голосов.

Увидев, как я угнетен, он улыбнулся, но без насмешки. Его улыбка была ленивой, медлительной, противоречащей напряженности его лица в покое.

— Так или иначе, но мы должны видеть Его, раз вводим Его в Игру, — сказал он. — Так увидим же Его как могущественного вельможу, хозяина обширных владений. Адам и Ева — его крепостные, обязанные ему службой. Они не платят оброка покорности, они хотят сами владеть своим наделом. Если он дарует им все, о чем они просят, то карать будет не за что, и что тогда останется от его власти?

Еще того хуже! И я уже приподнялся, чтобы встать, но он снова улыбнулся, поднял правую ладонь жестом Бога, призывающего к молчанию, и сказал:

— Сегодня ты играл удачно, Никлас, особенно для первого раза. Упал ты в конце неуклюже, но обратить к Сатане его собственные слова было смелым замыслом, и жесты ты делал четко, и бегал вокруг него ловко. Мы все это чувствовали.

Такие слова заставили меня забыть про спор и преисполнили мое сердце радостью. И дороже самой похвалы было для меня доказательство, что он внимательно следил за мной, замечал все, что я делал и как. Мартин умел заставить себя любить богохульствам вопреки. А сам он не чувствовал себя богохульником, то есть когда он говорил об Игре. Для него жизнь Игры лежала вне окружающей жизни, имела собственные законы поведения и речи, которым подчинялись все — сильные и слабые, высокого положения и низкого. Тогда я не увидел опасности этого, Бог да простит мне мое безумие.

Между нами воцарилось молчание, и мы расслабились в тепле, веявшем от огня. Я думал про нашу Игру об Адаме и о том Саде, которого наши прародители лишились, подстрекаемые Сатаной. В отличие от многих я знаю, где он расположен. В библиотеке Линкольнского собора, где я служил в сане младшего диакона, есть карта, на которой указано его место — на самом краю ее восточно-

го предела, где высочайшая гора укрыла его от остального мира. Бог все еще сохраняет его и иногда гуляет там по вечерам. Пока же Сад пустует в ожидании, чтобы святые вновь стали его владыками. Я думал: как странно, что подобный сад пустует, и как восхитительно было бы в обществе Блаженных душ прогуливаться между кущами из яшмы и хрусталя, среди рощ, где произрастают всевозможные деревья и цветы, и птицы поют, не зная усталости, где льются тысячи благоуханий, никогда не рассеивающихся, и ручьи струятся по драгоценным камням и песку, сверкающему ярче серебра. Туда не проникают холод, ветер или дождь. Там нет ни печали, ни болезни, ни тления. Сама Смерть не может преодолеть эту высокую гору. Вот что мы изобразили во дворе гостиницы с помощью выпиленного из доски дерева с бумажным яблоком, выкрашенным красной краской, и на краткий миг люди поверили, будто это Рай. Я слышал, гора, его загораживающая, так высока, что касается сферы луны, но в это трудно поверить, ведь тогда бы она вызывала затмения…

Я уже почти засыпал, когда Мартин встал, подошел ко мне и попросил меня прогуляться с ним. Он сказал это тихо, не для остальных. Я сразу же вскочил.

— После Игры я не могу сидеть спокойно или оставаться на одном месте, — сказал он, когда мы пошли через двор. — Слишком уж она занимает меня в уме, оставляя тело в покое, но ум тянет тело за собой. Это труд, не похожий на черную работу, после которой члены тяжелеют и приходит сон, если только ты не таков, как бедняга Прыгун, чьи страхи не гасят лихой смелости, — ему же только пятнадцать, и он еще растет. А сегодня мне тяжко, даже хуже обычного из-за денег.

Так мы шли по улицам города. Людей там теперь было мало. Грязь затвердевала от холода. Ночь была черная, без единой звезды — от недавней ясности неба не осталось и следа. Мы несли фонарь на палке, и только его пляшущий свет позволял нам видеть хоть что-то.

Я чуял в воздухе снег, чувствовал, как во мраке громоздятся снежные тучи, делая ночь еще непрогляднее. Мы дошли до маленькой харчевни — одна жалкая комната со скамьями и камышовыми циновками на утоптанном земляном полу. Свет был скудным, от дыма защипало глаза, но в очаге пылал огонь, и возле нашлись места.

Мы пили жидкий эль и ели соленую рыбу — ничего другого там не нашлось. Мартин вначале

молчал, уставившись на огонь. А когда заговорил, то снова о комедиантстве и тихим голосом, чтобы другие его не услышали — все, что было связано с его ремеслом, он оберегал очень ревниво.

— Мой отец был комедиантом, — сказал он. — И умер от чумы, когда мне было столько же лет, сколько теперь Прыгуну. Когда мы представляли в городах, посмотреть нас стекалось много народа. А теперь полдесятка жонглеров и пляшущий медведь переманивают половину зрителей. Нас всего шестеро. В Дареме перед родичем нашей госпожи мы можем показать Игру об Адаме и Игру о Рождении Христа, потому что их уже приготовили. Если найдется время на подготовку, мы также сможем показать Игру о Ное, Гневе Ирода и Сне жены Пилата.

Он мрачно поднял глаза и встретил мой взгляд.

— Нас всего шестеро, — повторил он. — Что могут шестеро? Все, что мы имеем, умещается в задней части повозки. А теперь гильдии все чаще и чаще устраивают многодневные представления. От Шотландии до Корнуолла, повсюду, где люди живут вместе в большом числе. В Векфилде или в Йорке они устраивают по двадцать представлений, начиная от Падения Люцифера до

Судного дня, и на это у них уходит неделя. В их распоряжении богатство гильдии, и они не считают расходы, ибо это добавляет славы их городу. Как нам тягаться с ними?

Глаза у него расширились. Он говорил с чувством, но выражение его лица оставалось смутным, будто источником его чувства не были произносимые им слова.

— Мы не можем тягаться с ними, — сказал он. — В Ковентри я видел Христа, восстающего из гроба с помощью блоков и возносящегося на Небеса, где облака висели на невидимых глазу веревках. Я видел обезглавливание Крестителя, когда комедианта подменили на чучело с помощью люка и игры света, и так искусно это было сделано, что зрители ничего не заметили и закричали от ужаса, увидев безголовый труп. И вот тогда я понял — когда услышал, как они кричат при виде пучка соломы, облитой бычьей кровью. Завершился день бедных комедиантов, которые странствуют с Мистериями и Моралите. Мы трудились, делали все что могли, и мы искусны в своем деле, и вот сидим здесь и пьем затхлое пиво. Отсюда и до Дарема утолять голод нам придется только затирухой из желудей с нашими соплями вместо соуса, разве что Тобиас

поймает в свой силок кролика, но в такую морозную погоду это нелегко. Нет, брат, мы должны найти что-то еще. Остальные ждут этого от меня. Я старшой труппы.

Он тяжело кивнул и снова посмотрел на меня, но теперь его взгляд посветлел.

— Прыгун сказал дело, пусть он и спал, когда говорил, — продолжал он. — История Падения — старая история, люди знают, как она кончается. Ну а если бы история была новой?

— Новая история про наших праотцов в Раю?

— Это убийство, про которое ты говорил, — сказал он. — По дороге к священнику мы кое-что о нем узнали.

Мне ниспослан дар предвидения, как я сказал, начиная это повествование. Иногда мы не знаем, чего ожидаем, пока ожидаемое не сбывается. И вот оно сбылось теперь с этими его словами, которые должны были бы удивить меня, но не удивили. Я ощутил первый страх там, в этой убогой харчевне, когда увидел свет на его лице, свет безрассудной смелости.

— Конюх в гостинице говорил про него, — сказал я. — Вот не думал, что ты станешь слушать такие сплетни.

— Да нет, — сказал он. — Наше ремесло в том и

состоит, чтобы подмечать все. Говорили между собой одни женщины. Протяжными голосами, как бывает, когда женщины согласны, обсуждая что-то скверное, и довольны своим согласием. — Он широко открыл глаза, опустил вниз уголки рта и, говоря почти шепотом, изобразил этот женский разговор. — Да-а-а, она всегда была такой скромницей, кто бы мог подумать про нее такое, на мужчин даже не смотрела… Так, соседушки, какой мужчина захотел бы взять ее за себя? — Он умолк и посмотрел на меня очень серьезно. — Все их голоса были одинаковыми, — сказал он. — Будто хор. Почему никто не захотел бы взять ее за себя?

— Когда она совершила подобное…

— Нет, — сказал он. — Они говорили о времени до убийства. Может быть, она уродлива, может быть, она колдунья.

Я не хотел говорить об этом, но его воля была сильнее моей и подавила мою — и тогда, и позже. Его желание, свет интереса в его лице понудили меня. Я подкормил его интерес кусочками, которые он дал мне сам.

— Деньги нашел духовник лорда, — сказал я. — Нашел их у нее в доме.

— Не в ее доме, а в доме ее отца, — сказал он. —

Она молода, не замужем. У нее нет дома.

— Откуда ты знаешь? — спросил я его и увидел, как он слегка пожал плечами. Во дворе стоял сильный запах нужника. Ночные уборщики нечистот еще не побывали тут. Меня теперь томила усталость, и я исполнился страха, хотя и не знал, что меня страшило. Внезапно мне вспомнилось лицо конюха, когда он повернулся из тени на свет.

— Я поговорил с женщиной священника, пока ждал, — сказал Мартин. — Тобиас остался снаружи, потому что с ним был его любимый барбос.

— Ты расспросил ее?

— Да, задал вопрос-другой.

Я выждал, но он ничего не добавил. И даже тогда я не унялся.

— И все-таки, — сказал я, — очень странно, очень необычно, что женщина без чьей-нибудь помощи могла вот так убить мужчину.

— Как — так? Мы ведь не знаем, как он был убит.

— Я про то, что он был убит на проезжей дороге. Женщина может убить мужчину из злобы или из ревности, выбрав время, когда он не будет настороже.

— Это же был не мужчина, а мальчик двена-

дцати лет.

На это у меня не нашлось ответа. Значит, Томас Уэллс был почти ребенок. Разрешение мелких недоразумений не уменьшает злодейства. Женщине нетрудно убить ребенка, да… Женщине священника он задал не просто вопрос-другой, понял я.

Теперь он улыбнулся и заговорил со мной знаками, что делал часто и всегда без предупреждения, чтобы я поупражнялся. Он сделал змеиный знак тонзуры и брюха, обозначив монаха; затем быстрые рубящие движения, рисующие крышу и стены; затем знак настоятельного вопроса: большой, указательный и средний пальцы левой руки сложены в щепоть, и рука быстро качается взад-вперед под подбородком — знак, очень похожий на обозначающий еду, но только в этом случае большой палец наложен сверху, локоть выставлен, а движения более медленные.

Как Монах оказался в доме?

Он ждал, прижав руку к затылку, настаивая на ответе. Стыжусь сказать, но истина понуждает меня, что я наклонил голову вперед, выражая нетерпеливость, и постарался как мог лучше изобразить блуд торопливыми движениями языка, хотя и не сумел достичь лихорадочной

быстроты Соломинки.

Мартин засмеялся, глядя на меня. Он, казалось, был теперь в превосходном настроении.

— Но она на мужчин даже не смотрела, — сказал он, — если верить нашим почтенным горожанкам. — И он сжал губы и провел правой ладонью по щеке в знак стыдливого румянца, а затем обеими руками словно плотнее закутался в шаль, как Целомудренность в Моралите.

Вот и все, что мы сказали в тот вечер об этом деле. И потому что под конец он засмеялся и не поскупился на шутку, мой страх был погребен. Необузданность, которую я почувствовал в нем, готовность преступить заповеди — им я нашел сносные объяснения. Он был удручен неудачей нашего представления, его угнетала наша бедность. Вот так я старался успокоить себя. Я все еще недостаточно знал его, не знал, что все в нем было серьезно. Быть может, потому-то он в тот вечер и позвал погулять с ним меня, кому его натура еще не была достаточно знакома, с кем он мог поговорить, не выдав своего намерения. Теперь я уверен, что намерение это уже созрело в нем.

Я знаю это, ибо теперь узнал Мартина получше, а тогда я ничего и заподозрить не мог. Но дурное предчувствие не исчезало. С помощью памяти

не так уж трудно изложить события в должном порядке. Но ужас, овладевающий натурами вроде моей, проследить непросто. Он пробуждается толчками вперед-назад, он лепится к новому. Страх, который я испытал в харчевне перед властью человеческого желания, властью ради зла или добра, я и сейчас его чувствую. Природа власти всегда одна, пусть она и носит разные личины. Личины безвластия тоже разнообразны. Я помню, что было сказано между нами в тот вечер, и смену выражений на его худом лице. Он уже совершил то, что всегда совершал с пугающей легкостью: он перешел от мысли к намерению, к стратегии, будто их не разделяла никакая завеса, даже легкий полог тумана.

Глава седьмая

Брендана в последний путь проводили мы все, даже пес, которого Тобиас держал рядом с собой на короткой изгрызенной веревке. Я было подумал не ходить, ведь мы должны будем обнажить головы, а моя вихрастая тонзура все еще обличала мою другую жизнь. Выход нашла Маргарет, и очень простой, хотя никто из нас о нем не подумал в привычной уверенности, что мне всегда следует чем-нибудь прикрывать голову.

— Мы его обреем, — сказала она своим обычным бесцветным голосом, почти не открывая рта, так что слова сливались в бормотание, не изменяя складок на ее лице. Маргарет натерпелась нужды, унижений своего тела и теперь не желала отдавать миру ничего сверх самого необходимого. Однако руки у нее были ловкими и ласковыми, как я уже знал по тому, как она прибирала беднягу Брендана. С помощью бритвы Стивена и воды из колодца во дворе я был обрит без единой царапины.

— А если кто спросит почему, мы скажем, по причине лишая, — сказал Прыгун. Робкая и

мирная душа, он всегда придумывал причины и оправдания, и он знал, что такой ответ надежен, ибо в детстве сам страдал этим недугом и цирюльник обрил ему голову.

Церковь стояла на склоне холма, и из кладбища мы могли видеть ту сторону лесистой долины, по которой струилась река, и голые холмы за ней в отблесках морского света — земля за ними круто спускалась к морю. Это был край невысоких холмов и широких долин. Деревья теперь стояли голые, не считая упрямой рыжины дубов. Склоны в папоротниках над рекой были цвета ржавчины. Везде полная неподвижность — день был безветренным. Небо над головой темнело, набухшее снегом.

Последним одеянием Брендану служил саван нищего. Гроба не было. Мы смотрели, как Мартин со Стивеном опустили его в землю ожидать там Судного дня, до которого теперь, наверное, уже совсем близко. Наше упование и моление за Брендана было тем же, что и за нас самих: хотя его бренное тело стало добычей тления, да будет он вновь облечен сиянием, когда могилы отдадут своих мертвецов.

Ночной иней теперь стаял с концов травинок, и они отливали темной зеленью. Кладбище храни-

ло отметку высокого прилива смерти — земляной вал, под которым в общей могиле покоились жертвы летней чумы. В эти северные края Черная смерть вернулась после затишья в двенадцать лет. Смерть никогда не насыщается. Теперь на каждом кладбище видно, как этот прилив неторопливо накатывается на зелень. У стены апсиды, там, где трава была укрыта от непогоды и потому не тронута инеем, паслись четыре овцы священника. За чумным валом виднелась единственная свежая могила, маленькая могилка ребенка с просмоленным крестом. И за ним я увидел, как над деревьями долины взлетела цапля на тяжелых крыльях. Священник торопливо прогнусавил последнее благословение, и тут пошел снег, большие мягкие хлопья, которые замирали в неподвижном воздухе и скользили вбок, будто примеривались, как упасть, чтобы не рассыпаться. И священник тут же зашагал назад в церковь с неподобающей поспешностью. Свои деньги он уже получил в ризнице. И оставалось только поглядеть, как под уже густо валящим снегом земля с лопаты начала засыпать Брендана, а потом пойти назад в гостиницу.

Но Мартин не пошел с нами, а остался позади, и я увидел, как он приблизился к могильщику и

заговорил с ним. Когда мы свернули на дорожку, которая вела через кладбище к церковной калитке, я отстал от остальных, пересек заиндевелую траву, вал чумной могилы и вышел к могилке. Земля была свежевскопанной. Имени на кресте не было, слишком мало прошло времени, чтобы успеть вырезать буквы. Когда, сказал конюх, его нашли? «Позавчера утром». Торопливое правосудие в этом городе, как сказал Соломинка. И торопливое погребение жертвы. Но, может быть, это все-таки была могила кого-то другого?

Я стоял и смотрел, как снег запорашивает могилку, и впал в состояние ума, знакомое книжникам: одновременно и внимательное, и рассеянное, которое наступает, когда текст неясен или испорчен. Чаще всего — когда, не вопрошая, ждешь, чтобы истинный смысл мысли автора стал постижим без твоих усилий. Неуверенно, осторожно, как падали первые хлопья.

Я пребывал в этом состоянии и когда нагнал остальных. Мы остановились у калитки и, поджидая Мартина, укрылись под аркой над ней. Я стоял чуть в стороне, почти снаружи. Без всякой причины я шагнул вперед и посмотрел на дорогу в направлении города. Снежные хлопья сливались в завесу, и в первое мгновение я видел

только ее, а во второе — за ней возникли темные силуэты, медленно движущиеся вверх по склону: два всадника, а с ними огромный черный зверь, чья голова поднималась над ними, и глаза у него были красные, а поверх головы вместе с ним двигалось нечто багровое, темно-багровое в белизне снега, и я понял, что это пламя дыхания Зверя, и я понял, какой это Зверь и кто эти всадники, и я сотворил крестное знамение и громко застонал от ужаса, увидя, что Зверь грядет, а моя душа не готова.

Услышав мои стоны, остальные подошли ко мне, посмотрели, но что они сказали и сказали ли они что-нибудь, я не знаю и по сей день; я только увидел, как Прыгун упал на колени, а мгновение спустя и Стивен. У меня самого ноги подгибались, но я устоял, борясь по мере сил с муками ужаса, ибо Христос сказал, что смерть вторая не имеет власти над Побеждающим, он войдет в Новый Иерусалим. И еще я знал, что свидетели в Откровении, обезглавленные Зверем из Бездны, потом ожили и вознеслись на Небеса. Но они блюли веру, а я-то нет.

Они приближались ровным шагом, и все мое мужество уходило на то, чтобы не спускать с них глаз и молиться об избавлении от зла. Но с «Отче

наш» на устах я увидел, что плывущее багровое нечто находилось над головой первого всадника и неизменно оставалось над ней: будто полог или балдахин. Затем я услышал голос Тобиаса, говорящего, что это рыцарь с оруженосцем, ведущим в поводу боевого коня, и я увидел, как Стивен поспешно поднялся на ноги и помог подняться Прыгуну, будто с самого начала встал на колени только для этого.

Тобиас не ошибся. За глаза я принял красные шоры, мешавшие скакуну озираться по сторонам. А затем я увидел, что к его боку подвешено длинное турнирное копье, торчащее спереди и сзади. Над головой первого всадника был полог из красной ткани, возможно, шелка, очень тонкий — тусклый свет просачивался сквозь него и падал на бледное лицо всадника. Ехал он на вороном жеребце, который вскидывал голову и фыркал от холодного прикосновения снежных хлопьев. Второй следовал за ним, опустив голову, так что перо его шляпы падало ему на лоб, но когда они приблизились, я узнал в нем оруженосца, который в гостинице накануне вечером помогал заводить вороного в стойло — этого самого беспокойного жеребца. Он ехал на серой кобыле и вел боевого коня на короткой веревке, а конь

этот был огромный, тот, на которого жаловался конюх, и тоже вороной. Щит был приторочен к седлу, и я снова увидел герб со свернувшейся змеей и с голубыми и серебряными полосами. Но поистине странным в этом рыцаре был квадрат шелка над его головой, который я счел огненным дыханием и который меня напугал так, что мое сердце все еще стучало о ребра. Видимо, это была его собственная выдумка: шелк был натянут между четырьмя палками, прикрепленными к сбруе, — две спереди, две сзади, а передний край свисал бахромой, неплохо защищая его лицо от снежных хлопьев. Шелк намок и потемнел, он отбрасывал красноватую тень, а рыцарь сидел на коне совершенно прямо, пышно одетый, словно в гости — в красный бархатный шапелен и в модное нынче красное сюрко без рукавов и открытое спереди, чтобы была видна его белая туника с высоким воротником. Он был молод, и лицо под нарядным шапеленом было спокойно. От левого виска до подбородка тянулся шрам. Когда он поравнялся с нами, его взгляд коротко и невозмутимо скользнул по нашим лицам, и мы потупили головы. Затем они оставили нас позади, все тем же ровным шагом поднимаясь вверх по склону. Я вышел на дорогу и смотрел им

вслед, а на глаза мне ложились холодные хлопья. Где-то вверху курился дым. Мне показалось, что я различаю зубцы донжона, но падающий снег и дым мешали разглядеть что-нибудь как следует. Рыцарь и оруженосец слились с завесой снега и дыма, скрылись в ней от моих глаз. Люди по-разному справляются со страхом. Я попытался скрыть свой за словами.

— Они едут в замок, — сказал я. — Шестидневный турнир, так я слышал в гостинице. Он будет продолжаться до Дня святого Стефана. Я еще никогда не видел, чтобы рыцарь ездил под пологом.

— И я не видел, — сказал Тобиас и сплюнул на дорогу. — Он боится, как бы снег не попортил его шапелен. У них вся жизнь в том, чтобы выставлять напоказ свои наряды и доспехи.

Соломинка засмеялся тем странным смехом, который всегда звучал как рыдание.

— А наша нет? — сказал он. — Они такие же, как мы, странствующие комедианты. — Он тоже перепугался, я понял это по его облегченному смеху. — Все, что им требуется, они возят с собой, совсем как мы, — сказал он.

Из нас всех только Прыгун признался, что ему было страшно. Возможно, потому что страх все-

гда был его близким товарищем.

— Я сначала думал, это грядет Антихрист, — сказал он. — И уж лучше я буду комедиантом, буду заставлять людей смеяться, чем шляться туда-сюда и вышибать других людей из их седел.

Легким движением плеч и правой руки, уставившись в одну точку и робко вздернув брови, он изобразил боязливого рыцаря на ристалище. Это было смешно, потому что так он передразнил собственный страх и наш, и все засмеялись, кроме Стивена, который перепугался не меньше остальных, но теперь попытался скрыть это, попрекнув нас за нашу непочтительность.

— Они умеют биться, — сказал он. Бывший лучник, он видел рыцарей в сражениях, а мы нет. И он всегда был великим защитником знати, думается, из природного преклонения перед богатыми и могущественными — быть может, потому-то, пришло мне в голову теперь, на ходулях и с золотым лицом Стивен так убедительно изображал Бога-Отца.

— Пятьдесят фунтов брони, — сказал он, с мрачным осуждением глядя на Прыгуна. — В жаркий день это как голову в печь засунуть. И они сражаются верхом с зари и до зари в любую погоду, что Бог пошлет. Я видел, как с полдесятком ран,

ослепнув от крови, они продолжали наносить удары. А ты, Прыгун, не смог бы даже поднять рыцарский меч, а не то чтобы рубить им.

— Если они не могли видеть, кого рубят, лучше бы им отправиться восвояси, — сказал Соломинка. — Размахивая мечами куда попало, они же опаснее для своих, чем для врагов. И вообще они опасны для всех и каждого. — Он был зыбок и изменчив в своих мыслях и чувствах, но всегда вставал на защиту Прыгуна. — И с какой это стати Прыгуну поднимать меч? — сказал он теперь. — Понять не могу, чего ты так расхваливаешь рыцарей, когда один из них приказал отсечь тебе палец.

Это упоминание его калечества оскорбило Стивена, и дело могло бы дойти до драки, но тут вернулся Мартин, и мы все вместе начали спускаться с холма, наклоняя головы навстречу снегу. В гостинице Мартином словно бы овладел дух безрассудства. Мы насыщались густой гороховой похлебкой с бараниной и мясным пудингом. К хлебу у нас было масло и добрый эль. Пес тоже попировал хлебом, обмокнутым в похлебку, а Тобиас дал ему баранью кость. Обошлось все это в одиннадцать пенсов и совсем опустошило общий кошелек.

Стивен и Тобиас собрались нагрузить повозку, но Мартин остановил их.

— Надо обсудить одно дело, — сказал он. — Разведем-ка огонь. Хворосту осталось еще порядком.

Мы утвердили жаровню у двери, которую оставили открытой, и сели внутри полукругом, глядя на огонь и двор за ним. Снег продолжал падать, укрывая булыжник белой пеленой. Хлопья влетали в дверь и шипели в пламени. Мы сидели сытые, удобно устроившись на соломе, и смотрели на яркий огонь. Вокруг нас курился пар подсыхающей одежды, пахло соломой, коровьим навозом и резко воняло лошадью.

Для начала он сообщил нам то, что мы и так хорошо знали: заработали мы мало, денег почти не осталось, а до Дарема, где родич нашей госпожи ожидал нас на Рождество, чтобы развлекать своих гостей, оставалось еще несколько дней пути. Сколько именно, предсказать было невозможно: из-за этой метели дороги станут еще менее проходимыми.

— А денег нам еле-еле хватит на два дня, — сказал он, опять возвращаясь к нашей нищете.

— Так чего же мы столько потратились на баранину? — спросил Прыгун. Детский вопрос, ибо он заранее знал, во что обойдется мясо, по

которому он истосковался. А теперь, сытый по уши, он попрекал.

— Нам надо поддерживать силы, — сказал Мартин. Думаю, он потратил деньги с умыслом, чтобы лишить нас выбора. Теперь он наклонился вперед, подставил ладони огню, и выглядело это странно, будто он готовился к прыжку. Вновь я заметил в нем что-то волчье. Но только грешное и коварное сердце человеческое могло придать его лицу выражение, которое оно теперь приняло: одержимость своим замыслом, поиски наилучшего способа убедить нас.

— У нас есть один путь, и я его нашел, — сказал он. — Есть что-то, что мы можем сделать, а жонглеры не могут. Но для этого нам надо задержаться здесь еще немного.

— Чего ты ходишь вокруг да около? — Мгновение темное лицо Стивена ничего не выражало, затем я увидел, как сдвинулись его брови. — Что ты придумал для нас? — сказал он.

Мартин вновь окинул нас взглядом, но кратко. Теперь его лицо было спокойным и очень серьезным.

— Добрые люди, — сказал он, — мы должны сыграть убийство.

Слова эти погрузили мир в безмолвие, во вся-

ком случае, так показалось мне. Никто из нас не издал ни звука, наши тела сковала неподвижность. Во дворе снаружи цокот копыт и людские голоса тоже стихли — или же на мгновение я стал глух к ним. Когда безмолвие окутывает мир, всегда какой-то слабый звук становится все громче. Я слышал шепот и вздохи снега, и звук этот был во мне и вне меня.

Первым вернул звуки Тобиас, они возникли вновь с его голосом.

— Сыграть убийство? — сказал он; в его лице было ошеломление. — О чем ты говоришь? Об убийстве этого мальчика? Кто же играет то, что сейчас совершается в мире?

— То, что совершено и кончено, — сказал Соломинка. Он помолчал, шаря выпуклыми и непокорными глазами по углам сарая. — Это безумие, — сказал он. — Как могут люди сыграть то, что совершено только один раз? Где для этого слова? — Он вскинул обе руки и зашевелил пальцами в жесте хаоса.

— Женщина, которая совершила это, еще жива, — сказала Маргарет. — Если она жива, то она в своей роли, никто другой не может сыграть за нее.

Я еще не слышал, чтобы Маргарет подава-

ла голос, когда обсуждались дела, связанные с представлениями, но Мартин не оборвал ее, поглощенный ведением спора.

— В чем разница? — сказал он. — Каин убил Авеля, это было убийство, что-то, что случилось, и случилось это только один раз. Но мы можем играть его, мы часто его играем, и играем так же, как оно было совершено. Мы подкладываем треснувший кувшин под одеяние Авеля, чтобы создать треск ломающихся костей. Почему же мы Не можем сыграть убийство в этом городе, раз мы оказались тут?

Тобиас покачал головой.

— Оно само по себе, — сказал он. — О нем нигде не написано. А про Каина и Авеля говорится в Библии.

— Тобиас прав, — сказал я. Молчать я не мог, хотя это и значило пойти наперекор Мартину. Он предлагал нечто кощунственное, и я испугался. И почувствовал, что этим отличаюсь от остальных. Они были изумлены, потому что мысль была совсем новой, но в душе не встревожились, кроме, может быть, Тобиаса, хотя, конечно, коснуться это должно было и их. — В Священном Писании есть дозволение, — сказал я. — История Каина и Авеля завершена по мудрости Божьей, это не

просто убийство, оно находит продолжение в каре. Оно происходит по воле Творца.

— Как и это убийство, как и все убийства в мире, — сказал Прыгун, а его худое лицо, лицо вечного сироты, уже озаряла мысль Мартина.

— Воистину, — сказал я, — но здешнее лишено общего признания, Бог не даровал нам эту историю для нашего использования. Он не открыл нам ее смысла. Значит, в этом убийстве смысла нет, это просто смерть. А комедианты подобны всем людям, они не должны выдумывать свой смысл. Это ересь, это источник всех наших бед, по этой причине наши прародители были изгнаны из Земного Рая.

Однако, оглядывая их лица, я уже понял, что довод мой пропадет втуне. Может быть, они и испытывали страх, но не страх оскорбить Бога, а страх перед свободой, которую предлагал Мартин, вольностью играть все, что заблагорассудится. Такая вольность приносит власть… Да, он предлагал нам весь мир, он играл с нами в Люцифера, тут, в тесноте сарая. Однако более близкий соблазн ему предлагать не требовалось, соблазн этот уже овладел мыслями нас всех: люди валом повалят поглядеть, как будет сыграно их убийство, и скупиться не станут. В конце концов,

победу ему принесла наша крайняя нужда. Это — и еще склад ума комедиантов, которые думают о своих ролях и о том, как лучше сыграть их, и прислушиваются к словам главного в труппе, не вникая в смысл как в целое. Иначе остальные узрели бы то, что узрел я, более привычный выводить заключения: если мы начнем находить свои смыслы, Бог вынудит нас самих отвечать на наши вопросы, Он покинет нас в бездне без утешения Его Слова.

— Оно не имеет иного смысла, кроме смерти, — снова сказал я, хотя и знал, что спор проигран. — Слишком мало прошло времени, чтобы Божий смысл стал явен.

— Людям дано придавать смысл вещам, — сказал Тобиас. — Тут нет греха, ибо наши смыслы временны, их можно изменять.

Да, Тобиас, рассудительный и уравновешенный Тобиас, играющий Род Человеческий, первым высказался за Мартина, хотя был первым, кто ему возразил. Остальные последовали его примеру.

— Бог не может желать, чтобы мы голодали, ожидая, пока Он дарует нам смысл, — сказал бедняга Прыгун, уж он-то был хорошо знаком с голодом.

— Мы все перемрем у дороги, прежде чем обре-

тем Божий смысл, — сказал Соломинка и сделал знак Костлявой, длинный взмах руки ладонью наружу справа налево. — Смерть не ждет смыслов, — сказал он. — Меч, петля или чума — ей все едино.

Стивен наклонился вперед, и пламя жаровни озарило его темное нахмуренное лицо.

— Дело-то не столько в смысле, — сказал он. — Тут есть мальчик, женщина, монах… — Он помолчал, подыскивая слова. — Оно же только одно и само по себе, — сказал он наконец. — Житейское. В нем нет Фигур.

— Из него же можно сотворить цример для всех, — сказал Мартин. — Как вы не видите? Мы все играли Моралите, в котором называем сбившегося с пути Человеком, или Родом Человеческим, или Царем Жизни. И Добродетели борются с Пороками за его душу. Вот мы и делаем его Фигурой, воплощающей всех. Но ведь та же битва происходит в каждой отдельной душе, и в наших душах, и в душе женщины, которая ограбила Томаса Уэллса и убила его. Это очень старая форма Игры, та, что просуществует дольше остальных.

Он использовал аргумент от частного к общему, допустимый в диспуте о логике, но только не

о морали. Однако то, что он сказал о форме, было правдой. В течение тысячи лет, с Psychomachia[9] Пруденция, существовала эта история о Битве за Душу.

— Мы можем сыграть это как моралите, — сказал он.

Прыгун подул на пальцы, думаю, больше по привычке, так как возле огня нам было тепло.

— Но у нас для него нет слов, — сказал он. — Можно использовать некоторые речи ангелов и демонов, но я их толком не помню и не обойдусь без подсказок.

— И я тоже, — сказал Соломинка. — А времени на заучивание нет.

— Мы можем исполнить пантомиму и говорить что придумаем, и не обязательно стихами, — сказал Мартин. — Мы ведь уже так делали. Всего-то на полчаса, а то и короче. — Теперь он говорил уверенно, чувствуя, что сражение выиграно. — А потом мы можем представить Рождение, — сказал он. — Они прекрасно сочетаются: ребенок, убитый из алчности, ребенок, рожденный, чтобы искупить наши грехи. Подумайте о деньгах, которые мы получим, добрые люди, думайте только о

---

[9] Сноски: 9
Противоборство души и тела *(лат.).*

них. Мы заполним весь двор.

Он смотрел на нас, ожидая выражения согласия. Ему никто не возразил, даже я, но я потупил глаза, ибо знал, что затея эта богопротивна. Мы же присвоим тела живых людей, наша прибыль будет заработана детской кровью.

— Мы назовем ее Игрой о Томасе Уэллсе, — сказал Мартин. Наступило короткое молчание, а потом он снова заговорил. Совсем другим голосом. — Подойди, — сказал он, — погрейся, добрая душа.

Я поднял глаза, чтобы посмотреть, с кем он говорит. В колеблющемся над жаровней мареве снежные хлопья разваливались и таяли. Казалось, они не падают в этом дрожащем воздухе, но струятся, слагаясь в мерцающую завесу. И в этой завесе, будто хлопья слиплись и повисли там, белело круглое лицо, улыбаясь разинутым ртом. Я увидел, как зашлепали губы, будто слова требовалось размять, чтобы произнести их. Лицо это плотно облегал рваный капюшон. Жидкая бороденка намокла, на ресницах поблескивали капли. Я уже видел это бессмысленное лицо, только не мог вспомнить где. Он подошел и присел на корточки у нашего огня.

— Он хочет нам что-то рассказать, — сказал

Тобиас. — Так что же, друг?

Губы снова зашлепали, но теперь у него вырывались слова, тихие, смазанные, но достаточно ясные. Имя мальчика.

— Томас Уэллс, — сказал он и обратил на нас поблескивающие глаза над тлеющими углями. — Томас Уэллс, они его нашли.

Когда он сказал это, я подумал, не демон ли он, и мне показалось, что под капюшоном торчат рога. У меня сперло дыхание, и я произнес какие-то слова, но не помню какие. Прыгун задрожал.

— Спаси нас всех, Господи, — сказал он и перекрестился.

— Это же нищий, он иногда заходит во двор гостиницы, — сказала Маргарет своим обычным бесцветным бормочущим голосом. — И я видела его на улице за воротами, — сказала она. — Добрая душа, о чем ты?

— Его они нашли раньше ангелов, — сказал он. — Рано поутру они принесли его домой. А сыночка Роберта Мура и младшенького Саймона, кузнеца, и мальчика, который пас овец, Джона Гуди, их ангелы нашли первыми.

— О чем ты говоришь? — сказал Мартин. — Были и другие? Кто его нашел? Кто нашел Томаса Уэллса?

— Джек Флинт его нашел. — Глаза дурачка ярко сверкали. Его рот был омутом слюны. — Грехи, как камни, — сказал он. — Но дети легонькие, они могут летать. Своими глазами я видел их. — Он поднял руку ладонью наружу, растопырив пальцы, и подержал ее перед улыбающимся лицом, будто заслоняя глаза от слепящих лучей и в то же время стараясь увидеть в просветы дивное зрелище. — Я увидел над домами, — сказал он. — Они пели, когда уносили их. От света у меня заболели глаза. Я сказал Джейн Гуди: твое дитя с ангелами на Небесах, но она не утешилась. И искала его повсюду.

— Бедная душа, ты помешан в уме, — сказал Тобиас и встал, чтобы дать дурачку краюшку оставшегося хлеба, но движение его оказалось слишком внезапным, дурачок отполз на корточках, потом выпрямился. Во мгновение ока он исчез, и только нагретый воздух колебался над огнем, да падали и падали хлопья, и о булыжники стучали совки, разгребая снег.

— Ну, он ушел, — сказал Мартин. — Он говорит, нашел мальчика Флинт… Нам надо узнать все, что мы сможем. Чтобы сыграть это моралите, мы должны знать все обстоятельства. Нам надо пойти поодиночке в город и поговорить с людьми, но

как приезжие, словно бы просто так.

— Они же нас узнают, — сказал Соломинка.

— Нет, не узнают. Почти все мы были в масках, да и видели они нас в свете факелов, а он меняет лица.

Это сказал Стивен, и на его лице появилось то же сияние, которое я увидел на лице Прыгуна. Замысел Мартина находил в нас отклик, зажигал нас.

— Мы прогуляемся по городу, узнаем все, что сможем, — сказал он теперь. — Когда зазвонят к вечерне, мы сразу же вернемся сюда. И каждый расскажет остальным, что узнал об этом деле, и мы обдумаем Игру, распределим роли. Затем устроим пешее шествие с факелами, каждый в своей роли, и оповестим горожан о нашем намерении. После чего начнем упражняться в Игре, чтобы выучить наши роли, насколько позволит время. Завтра базарный день, и в городе будет полно народу.

Значит, он узнал это прежде, чем получил наше согласие.

— О чем ты говорил с могильщиком? — сказал я. Вопрос этот вырвался раньше, чем я решил его задать.

— Что? — На мгновение он, казалось, смутился,

будто я уличил его в чем-то дурном.

— Нынче утром, когда ты задержался на кладбище?

— Спросил, видел ли он тело мальчика, но он сказал, что не видел, потому что не умеет видеть сквозь деревянную крышку, а я тогда спросил его, кто сколотил гроб, а он сказал, что в городе есть три плотника, значит, кто-то из них. И еще я спросил, знает ли он, кто заплатил за эту работу, а он сказал, что нет.

— Значит, эта мысль пришла тебе в голову уже тогда?

Он посмотрел мне прямо в глаза.

— Я уже много лет думал о том, что мы могли бы делать Игры из событий, случающихся при нашей жизни. Я верю, в грядущем они такими и будут.

Тогда я счел его ответ правдивым, но не целиком честным, полагая, что между правдивостью и честностью лежала надежда на пополнение кошелька. Он отвел взгляд от меня и обратился к остальным:

— Ну, так мы все согласны?

Некоторое время мы молчали. Потом один за другим, начиная с Тобиаса, выразили согласие. И я тоже — последним. Дерзкая смелость этого за-

мысла покорила меня. На лицах вокруг я увидел страх и восторг. Мы ставили все на один бросок костей. И еще был исходивший от него свет, мы все купались в этом свете. Теперь я думаю, что его вела гордыня духа, а она гораздо хуже любви к деньгам. Гордыня может породить только ветки для факелов. Смола грешной ветки заставляет ее гореть ярче, и кажется, будто она озаряет тьму, но пламя быстро ее пожирает, оставляя мир еще темнее, чем раньше. Тем не менее, возразив против этого замысла, я дал свое согласие. Эта труппа комедиантов была моим прибежищем, я не хотел, чтобы меня прогнали. И к тому же лицо Мартина и его голос. Он нас не убедил, а вложил в нас свои чувства. Будто свет пролился там между нами…

Больше я ему не возражал, да и в любом случае это было бы бесполезно. И, быть может, он не ошибался в том, что сказал о природе Игр и представлений в грядущие времена. Он принадлежал к тем, кто способен смотреть вперед не дрогнув, и не питал злобы к тому времени, когда его уже не будет в живых, и благодаря этому его взор был ясен. И всё, быть может, все состояния человека изменятся со временем. А что они могут измениться, мы видим на примере ордена бенедиктинцев, братья которого более не соблюдают

устав основателя их ордена, но странствуют по миру подобно вот этому нашедшему украденный кошель духовнику лорда, живущему у него в замке. Мы видим это и на примере рыцарского сословия. Пока мы сидели у огня, уже приняв решение, я снова подумал о рыцаре, о том, как он медленно ехал вверх по склону под кружащими хлопьями с багровым дыханием Зверя над головой. Я принял первого всадника за Смерть, но теперь я знал, что возит он с собой собственную смерть. Я вспомнил его бледное лицо, спокойный бесшабашный взгляд, длинный шрам на щеке, этот изысканный квадрат шелка, оберегающий его наряд от соприкосновения со снегом. Рыцари — сословие убивающих, их с детства учат владеть оружием и наносить тяжкие раны и увечья. Но если верить нашим отцам или отцам наших отцов, когда-то обучение это имело цель, как имеют ее упражнения комедиантов. Цель Шута Дьявола — утешать Дьявола, и как она дает ему дозволение на шутовство, так целью рыцарей было защищать слабых от произвола сильных и сражаться за Христа на Святой Земле, она давала им дозволение сеять смерть и владеть поместьями. Но, быть может, отцы наших отцов говорили только то, что прежде слышали от своих отцов, и

на самом деле такой цели у рыцарей никогда не было, и только Церковь утверждала это в надежде смягчить их; или так говорил король, объясняя, почему он дарует им землю. Они были нужны, а потому требовалось подыскать для них роль. Но как бы то ни было, если когда-то у них и была роль, теперь они ее утратили даже в битвах — в битвах побеждает простой народ, лучники и копейщики, что обильно доказали наши времена, тогда как рыцари и их боевые кони барахтаются в крови и вместе падают под ударами. Вот почему они придумали турниры. Наряжаются, чтобы убивать в игре, как нарядился и этот.

Глава восьмая

Мы последовали плану Мартина. Я побродил среди прилавков у рыночного креста и посидел в ближайшей харчевне. Снег перестал, но тучи по-прежнему были им брюхаты. Я старался как мог хитрее наводить разговор на городские сплетни, тщательно при этом скрывая, что я приезжий. Тут Мартин ошибался: стоило выдать, что тебе ничего не известно, и люди сразу замолкали или спешили уйти, как тот конюх. Что-то — страх или недоверие — связывало им языки. Именно это случилось, когда я спросил у торговца яйцами, призналась ли приговоренная женщина в своем преступлении. Он поглядел на меня с полуулыбкой, будто я отпустил всем известную шутку. Затем его лицо утратило всякое выражение, и он угрюмо отвел глаза.

Однако кое-что мне узнать удалось, и самое главное, что женщину эту видели вблизи дороги в тот вечер, когда мальчик был убит, — считалось, что убили его вечером или в течение ночи. Ее видел совсем близко от места, где его потом нашли, тот же самый бенедиктинец, который на

следующее утро пришел к ней в дом и нашел там украденные деньги.

Я рассказал про это остальным, когда мы вновь собрались в сарае. Уже смеркалось. Мы, как и раньше, сели у огня, но он еле горел, так как теперь нам приходилось беречь оставшийся хворост. Ведь купить его нам было не на что — мы потратили почти все оставшиеся монеты, уплатив за еще одну ночь в сарае.

Как новичка в труппе и самого незначащего меня первого спросили, что мне удалось узнать. Начал я с того, что, как мне думалось, было теперь известно всем нам, а важные подробности приберег к концу. Мальчику, Томасу Уэллсу, сровнялось двенадцать лет, но он был маленьким для своего возраста и редко улыбался, потому что его часто избивал пьяница, с которым сожительствовала его мать. Родной его отец не то скончался, не то сбежал.

— Отец ушел в одно прекрасное утро, — сказал Прыгун. Он сидел, поджав ноги, но легким поворотом торса и дернув плечом, сначала одним, потом другим, он преобразился в мужчину, шагающего свободно и радостно. Однако на лице у него не было улыбки. — Отправился воевать, — сказал он. — Они говорили то же и про моего

отца, но я этому никогда не верил.

— Они бедны, — сказал Стивен. — Он кабальный лорда де Гиза. У него есть пахотное поле, акра в три, не больше.

— Деньги на эль он находит, — сказал Мартин. — И был пьян в тот день, когда мальчика убили. Пьян и буянил. Под конец кабатчик перестал ему наливать.

— И мы это сыграем? — Глаза Прыгуна стали совсем круглыми. — А что, если и он придет посмотреть?

— Дьявол его побери, мы это сыграем! — сказал Стивен. — Если он ввяжется в ссору со мной, то пожалеет.

— Он притворяется, будто не пьян, чтобы кабатчик налил ему еще эля. Он собирает все силы. — Соломинка выпрямился, еле удерживаясь на ногах, и голова у него затряслась от усилий выглядеть трезвым. Потом он задрожал, и это была настоящая дрожь. В сарае было холодно. Но я понял, что Соломинку обуял страх.

— Кабатчик ждет, — сказал Мартин. — Тот не выдерживает, ноги его больше не держат. — Он по очереди сыграл обоих — сверлящий взгляд кабатчика, то, как пьяница повалился, и было это очень смешно.

— Они продали свою корову, — сказал я, когда смех стих. — Куда уж беднее, если они продали телку зимой. Сено у них сопрело от дождей, и кормить ее до новой травы было нечем. Вот какие деньги нес мальчик. Наверное, они ее продали не в городе.

— В шести милях отсюда, — сказал Тобиас, — в деревне под названием Апплтон у края вересков. Мужчина и женщина остались там в харчевне и напились. Вернее, пил он, а она сидела с ним. Деньги, сколько сумела, она отдала мальчику на хранение и отослала его с ними домой.

— Но до дома он не добрался, — сказал Мартин. — После полудня его видел милях в трех на дороге человек, собиравший хворост на опушке леса.

— Нашли его в полумиле от города, — сказал Стивен, — где дорога проходит ниже выгона. Я сходил туда. Дорога там узкая, с одной стороны совсем рядом лес, а с другой вверх до выгона тянется вереск. Дом, где жила женщина, стоит на краю выгона, ближе к городу.

— Она жила там со своим отцом, он ткач, — сказал Соломинка. — Почему не схватили и его, если деньги нашлись там?

Ответа не знал никто.

— Ее видел духовник лорда, — сказал я. — Бенедиктинец. — Я умолк, вкушая удовольствие, которое испытывает человек, собираясь сообщить что-то очень важное. Я был возбужден, как и все мы. Возбужден и испуган. Все эти события уже произошли. А теперь через наши слова мы заставляли их происходить заново, как позднее их повторят наши тела. — Он видел девушку на выгоне в тот вечер. Неподалеку от дороги, в том месте, где нашли мальчика.

— Что она там делала? — сказал Стивен. — Поджидала Томаса Уэллса? Может, она заметила его издалека? Там ведь дорога идет вверх и хорошо видна.

— Почему она поджидала Томаса Уэллса? — сказал я.

— В таком случае Монах тоже его увидел бы, — сказал Мартин. На его лице вновь появилось светлое отрешенное выражение, с каким он в первый раз поведал нам о своем замысле. — Как будто последним видел Томаса Уэллса живым человек, собиравший хворост, а это милях в трех от места, где его нашли.

— Вот почему Монах пошел к ней в дом, — сказала Маргарет, заговорив в первый раз. — Он видел ее возле того места, а когда мальчика на-

шли, вспомнил, что видел ее, пошел туда, в дом, и нашел там деньги.

Оглядываясь в уме на прошлое, всегда трудно установить, когда именно все изменилось, когда поток потемнел или посветлел, когда слова или взгляды стали другими. Мне кажется, тень упала, пока говорила Маргарет. Помнится, я как будто заметил, что свет чуть побагровел, будто последние скудные отблески нашего угасающего огня расплылись вокруг нас, и мы сидели там в этом свете, пока снаружи сгущался мрак, и были мы теми же самыми людьми и все же другими. Вот тогда мы поняли, что дело не было таким простым, как мы думали сначала. Три касавшихся Монаха события — увидел женщину, узнал о смерти мальчика, нашел деньги — хотя, на первый взгляд, объясняли все, на самом деле порождали больше вопросов, чем разрешали их.

— Может, ее там видели и другие, — медленно сказал Мартин. — Да и в любом случае это же общинная земля, привести ее туда могли многие причины, и Монах не мог этого не знать.

— А почему Монах оказался там? На дороге? — сказал Тобиас.

Наступила тишина, затем Соломинка сглотнул, засмеялся, и в сарае звуки эти показались очень

громкими. Он всегда поддавался настроениям больше любого из нас и всегда отзывался и колебался, будто флюгер, вертясь туда и сюда.

— Он мог идти куда-то по поручению Лорда, — сказал я.

Я постарался представить себе лицо Монаха, которого никогда не видел, придать ему весомость, но возникли другие лица: лицо Мартина, озаренное его замыслом, грязное лицо дурачка, когда он называл пропавших детей, презрительное, в шрамах, лицо рыцаря, едущего под своим балдахином. Монах, хотя выполнял поручение Лорда, нашел время заметить, а потом и вспомнить девушку, которую видел на выгоне всего несколько мгновений…

— А как был убит Томас Уэллс?

Вопрос, казалось, сам раздался среди нас, и не сразу стало ясно, кто его задал. Но это был Тобиас, рассудительный, чинящий поломки.

— Какой была его смерть? — сказал он теперь с нотой нетерпения в голосе.

— Мы пока не… — начал Мартин.

— Его задушили, — сказала Маргарет. — Томас Уэллс был задушен.

Мы поглядели на нее, как она сидела там, раздвинув крепкие ноги под ветхой коричневой

юбкой. Она причесала свои светлые волосы и перевязала их обрывком красной ленты.

— Откуда ты знаешь? — сказал Стивен, потому что имел право допросить ее первым.

— Я нашла этого человека, Флинта, — сказала она, выставив на него подбородок. В ее движениях часто чудился вызов. — Того, кто наткнулся на труп мальчика. Он вдовец и человек вроде бы добрый. Живет один.

Некоторое время мы все молчали. Никто не осведомился, каким способом она сумела выведать у Флинта эти сведения. Затем кто-то — думаю, снова Стивен — спросил, не веревкой ли, а она сказала, нет, жизнь у него отняли голыми руками.

— Флинт увидел синяки от больших пальцев, — сказала она. — Язык мальчика торчал наружу. А вообще он лежал на спине, сбоку от дороги, за колеями.

— Мальчик двенадцати лет, — сказал Мартин. — Он бы отбивался, спасая жизнь. Сильная, должно быть, женщина.

— Может, она выскочила на него из засады? — сказал Прыгун и оглядел сарай, будто здесь было то самое место.

Стивен покачал головой:

— Около дороги спрятаться негде. Лес в пятидесяти ярдах и ниже.

— Может, она заманила его под деревья?

— С какой стати он пошел бы с ней? — сказал Тобиас. — А если бы пошел, и она убила его там, так зачем ей было тащить его назад к дороге?

Никто не нашел ответа, и вновь наступило молчание. Затем Мартин поднял голову и чуть встряхнулся, словно отгоняя какое-то видение.

— Такова, значит, история, насколько она известна нам. Мужчина и женщина идут с мальчиком в деревню Апплтон, и там они продают свою телку. Мужчина начинает пить. Мать отдает деньги, скажем, в кошеле, мальчику и велит ему идти с ними прямо домой и ни с кем по дороге не разговаривать. Мальчик уходит, но до дома не добирается. На дороге, милях в трех от города, его видит мужчина, собирающий хворост. Женщину видят на выгоне вблизи от места, где нашли мальчика. Видел ее духовник Лорда, который выполнял поручение Лорда. И больше ее никто не видел. Это было после полудня, незадолго до сумерек. Однако этот человек, Флинт, находит мальчика только рано на следующее утро. Его задушили, и кошеля при нем не было.

Он умолк и посмотрел на Маргарет.

— А что Флинт делал там? — спросил он.

— Ехал в загон к своим овцам, — сказала она. — Положил мальчика на своего мула и привез его в город.

— Позднее утром Монах узнаёт об убийстве. Он отправляется в дом, где живет девушка, захватив с собой в свидетели слугу Лорда, так, во всяком случае, я думаю. Он находит кошель. Девушку уводят в тюрьму. В этот день и на следующий ее судят в суде шерифа, а это тот же суд Лорда, и приговаривают к виселице. Она приговорена, но еще не повешена.

Он помолчал, глядя прямо перед собой. Затем сказал негромко:

— Для этого должна быть причина. Да и все остальное делалось в большой спешке, даже похороны мальчика. Он упокоился в земле вчера, меньше чем через два дня после того, как его нашли. Однако это служит к нашей цели, добрые люди. Пока казнь еще не совершилась, интерес к нашей Игре будет горячее. А сыграем мы ее под виселицей.

Только Мартин мог сказать такое, и было в этом устремление к цели, каким среди нас обладал только он. В нем крылись противоречия, которые остаются для меня загадкой и по сей день.

Когда дело касалось его цели, он все остальное отбрасывал, а это грех, кто бы ни был в таком повинен. В нем не было благочестия. И все же его природа таила много доброты и верности тем, кто ему доверял.

— Может, они хотят, чтобы она призналась ради спасения ее души, — сказал Прыгун.

— Я старался выведать, призналась ли она, — сказал я. — Тот, кого я об этом спросил, сначала принял мои слова за шутку, но ничего не ответил. Из Йорка сюда едет судья, его вчера вечером ожидали в гостинице. Может быть, они ждут его.

— Одно ясно, он не гость Лорда, — сказал Тобиас. — Не то он остановился бы в замке. — Он поколебался, затем сказал: — Еще одно… Не касающееся этого убийства, но я опять слышал имя Джона Гуди, как будто ровесника убитого мальчика.

— Опять? — Стивен поднял густые брови. — А когда это мы слышали его раньше?

— Сегодня утром, — сказал Прыгун. — Мы слышали его сегодня утром. Один из тех, про кого говорил бедняга слабоумный, тот, что подсел к нашему огню. Он говорил, что видел ангелов и что-то слишком яркое для его глаз. — Тут он поднял правую руку в подражание нищему — ла-

донью вперед, растопырив пальцы, а его лицо за этим заслоном словно вглядывалось в какое-то видение, ослепительное и притягивающее. — Говорил он невнятно, — сказал Прыгун, — кроме имен. Их он произнес ясно.

— У нас и так много дел, — сказал Мартин. В голосе его было нетерпение, но мне показалось, что эти слова не выразили сполна его чувства. Однако то, что нам предстояло много дел, было чистой правдой. Мы должны были прошествовать по городу и оповестить о нашей Игре, пока на улицах еще были люди.

Шествовали мы пешком, чтобы поберечь повозку. Мы несли факелы и шли все вместе, на этот раз не поднимая особого шума — Мартин решил, что шествие наше должно быть торжественным, словно мы сопровождаем кого-то к месту казни. Нам пришлось взять с собой и Маргарет, так как нас было маловато, хотя Мартин дал согласие очень неохотно, ведь она не была членом труппы. Она надела свой потрепанный наряд — голубое платье с рассеченными рукавами, а на лицо безобразную маску Алчности, причины преступления. Стивен возглавлял шествие как Всевидящий Бог, облаченный в свое длинное белое одеяние с высокой шляпой на голове и в золоченой маске.

Прыгун надел красное платье и льняной парик, в которых изображал Еву, но лицо у него было открыто, ибо приговоренным не дозволено прятать или укрывать свои лица. На шею он надел петлю с короткой веревкой, болтавшейся перед ним. Тобиас шел сзади, как палач, в своего рода шлеме с прорезями для глаз — Маргарет изготовила его из какого-то черного материала. На груди у него висел барабан, и пока мы шли, он правой рукой ударял по нему в такт нашим шагам. Соломинка был Смертью в плаще с капюшоном, лицо он выбелил пастой из толченого мела. Мартин надел маску Дьявола, ту, которую я носил в Игре об Адаме, и он подскакивал и пританцовывал, показывая, как злорадствует Ад, готовясь получить эту женщину. Я был Добрым Советником, и мне, ибо мой совет был отвергнут, делать было почти нечего — только время от времени выражать жестом скорбь. Для этой роли я вновь облачился в сутану, которую последним носил Брендан, и она еще хранила напоминания о нем, хотя всю ночь провисела в сарае, проветриваясь. То есть я был священником, играющим роль священника в моем собственном облачении. Мальчика, Томаса Уэллса, мы не показали, потому что еще не решили, как его играть.

Вот так, под торжественные удары барабана, мы шли сквозь завесу вновь посыпавшихся хлопьев. Они падали косо и таяли в огне наших факелов. Жест скорби требует поднимать глаза к небу, и вскоре мое лицо стало совсем мокрым. На лице Прыгуна я увидел влажные полоски будто от слез, ведь как осужденная женщина он тоже должен был поднимать глаза к небу, моля о милосердии, — жест, который воздействует сильнее, если не сопровождается движением рук. Демон приплясывал, Смерть нагибалась в сторону прохожих и взмахивала невидимой косой, а Стивен часто останавливался, и мы все тоже. Он прикладывал ладони ко рту и выкликал Игру о Томасе Уэллсе, первое представление которой состоится в полдень завтрашнего дня, затем он называл часы следующих. А хлопья снега летели из темноты, будто рои бабочек на свет наших факелов.

Наверное, сомнения проникали в наши мысли, таились среди них даже тогда, когда мы торжественно шествовали по улицам, слышали удары барабана, ощущали снег на наших лицах и останавливались выслушать выкрики Бога. Только так можно объяснить то, что произошло между нами на следующий день.

Мы дошли до места, где улицы скрещивались, одна вела налево, назад к рыночной площади, другая уводила из города. Там нам пришлось остановиться в толпе и ждать. Верховые в ливреях перегородили нам дорогу, поворачивая своих лошадей боком поперек улицы от стены к стене. Мы стояли там и ждали. Со всех сторон нас окружали горожане, и я не знал, то ли они присоединились к нашему шествию, то ли мы присоединились к ним. Голоса в толпе объясняли, что в город прибыл королевский судья.

Некоторое время спустя они проехали мимо нас, не глядя ни вправо, ни влево, надвинув капюшоны пониже, от снега кутаясь в плащи, так что невозможно было отличить судью от его спутников. Тобиас, хотя обычно терпеливый, вскоре начинает раздражаться на любое притеснение властей, и он внезапно ударил по барабану, лошадь, испугавшись, рванулась вбок, всадник выругал нас, а Тобиас опять ударил в барабан, но тут они проехали. Это нарушило ритм нашего шествия и перемешало нас с горожанами. К тому же снег валил все гуще. Мы выбрали самый короткий путь назад, следуя в молчании за более внушительной процессией судьи, и добрались до гостиницы, когда их лошадей заводили в стойла.

Во дворе царила суматоха, но самого судьи нигде видно не было.

Отдыхать мы не могли, так как теперь нам предстояло разучить нашу Игру. Сыграть ее мы решили в форме моралите, используя некоторые готовые речи, которые комедианты выучили давно, каждый в своей роли, однако больше полагаясь на жесты и пантомиму, перемежая их тут же сочиненными словами. Мартин однажды видел в Лондоне, как итальянские комедианты устроили именно такое представление — у каждого персонажа были речи, повторявшиеся из Игры в Игру, и они перемежали их тут же придуманными словами, которые подходили к случаю.

Если мы сосредоточимся на действиях, сказал Мартин, в масках мы будем чувствовать себя свободнее, то такие неожиданности произведут сильное впечатление. Их подскажет то или иное действие, и зрители будут застигнуты врасплох, не зная, чего можно ожидать. Даже если мы допустим некоторые неуклюжести, неожиданность многое искупит. Но если кто-то захочет изменить ход истории, он должен заранее предупредить знаком, чтобы остальные поняли это и приготовились.

Я этого знака не знал, и мне его показали: кисть поворачивается в запястье, словно затягиваешь болт, и подать его можно быстро или медленно, причем сама рука может находиться в любом положении, лишь бы поворот кисти был заметен.

При распределении ролей мы столкнулись с некоторой трудностью. В Игре о Томасе Уэллсе было три события — отправление в путь, встреча на дороге и находка денег. Для этого требовалось шесть участников, не считая Добродетелей и Пороков. Поэтому некоторым из нас досталось по две роли. Но главное затруднение возникло из-за Прыгуна. Поскольку ему было только пятнадцать при невысоком росте, роль Томаса Уэллса предназначалась для него, так как из нас всех только он один подходил для нее. Но из этого следовало, что ни ту, ни другую женщину сыграть он не мог: ведь они появлялись перед зрителями одновременно с мальчиком.

— Играть их придется Соломинке, — сказал Мартин. — Мать он может играть без маски, а виновную женщину в двух масках — ангельской для обмана мальчика и демонской — для убийства. Авариция и Пиета[10] будут спорить из-за

[10] Сноски: 10
Алчность… Благочестие *(лат.).*

души преступной женщины. Играть первую буду я, а Тобиас — вторую, так как мы уже играли эти роли в Действе о Пахаре. Еще я буду играть Монаха. Стивен — пьяницу в харчевне.

— Очень подходящая роль, — сказала Маргарет. После того, что она сообщила о Флинте, она снискала общее уважение, и ее никто не одернул, даже Стивен, хотя он мрачно насупился.

— Еще он будет слугой, который сопровождает Монаха в дом девушки, — сказал Мартин. — Никлас будет Добрым Советником. Он читает наставление мальчику, предупреждая его не сворачивать с дороги.

— Ты сможешь добавить в него латыни, — сказал Соломинка, закатил глаза и прогнусавил нараспев: — Нах, рах, max, Deus, adimax[11]. А что значит «не сворачивать с дороги»? — сказал он, повернувшись к Мартину.

— Дорога — путь жизни. Свернуть, поддавшись искушению, — путь смерти. Мы уже играли это в разных моралите. Единственная разница в том, что тут смерть, угрожающая душе, это еще и смерть тела. Женщина соблазняет его обещаниями, и он следует за ней.

---

[11] Сноски: 11

Мир… Бог… *(лат.).* Остальные слова — фонетическая подделка под латынь.

— Следует за ней? — Соломинка неуверенно засмеялся. — Но он же за ней не последовал. Его, беднягу, нашли на дороге.

Мартин несколько мгновений смотрел на него молча.

— Нет, — сказал он негромко, — он должен был пойти с ней, как ты не понимаешь? Когда они встретились на дороге, было еще светло. Она спустилась с выгона, увидев паренька или по какой-то другой причине. Дорога ведь не была пустынной. Только что по ней прошел бенедиктинец. Будь это удар по голове, другое дело… Но задушить мальчика на открытой дороге, пока было еще светло… Нет, она увела его в свой дом и совершила свое деяние там.

Соломинка покачал головой:

— Но так она рисковала, что ее увидят с ним.

— А потом? — сказал Стивен. — Она притащила его назад на дорогу под покровом ночи?

— Ну, там все было ей хорошо знакомо, — сказал Тобиас. — И все-таки ноша слишком тяжелая для женщины, да и спуск по склону опасен, а светить себе она побоялась бы.

— Ну, совершено это могло быть только так, — сказал Мартин. — Иначе быть просто не могло. Она его куда-то увела. А мы сделаем так, что к

себе в дом.

Опять-таки только он один среди нас мог сказать такое. Наступило молчание, и мы все смотрели на него, а он сидел, наклонившись вперед, обхватив руками колени. Мы словно бы ждали чего-то еще, быть может, слов сожаления. Однако лицо, которое он повернул к нам, эти узкие удлиненные глаза, острые скулы, выступающие виски не выражали ничего, кроме уверенности в себе и равнодушия. Он не знал, куда женщина увела мальчика, но теперь они были персонажами Игры, а правдивость Игры была для него важнее правильности места.

— Принести его назад на дорогу было очень умно, — сказал он. — Будто убил случайный прохожий. Дорогой пользуется много людей, а где под подозрением многие, истинный виновник может легко ускользнуть.

Такова была принятая нами версия, и такой мы думали сделать нашу Игру. Мы упражнялись до глубокой ночи, повторяя движения и слова. А когда кончили, были совсем измучены, но я еще долго не мог уснуть. Солома кишела блохами, и я мерз, хотя надел колпак Шута, а поверх сутаны завернулся в платье Евы. У Мартина и Тобиаса были свои одеяла, а у Соломинки и Прыгуна —

одно общее. Мы, прочие, обходились как могли тем, что лежало в повозке.

В безмолвии ночи мной вновь овладел неясный ужас. Я представлял себе женщину с ее ношей, демонов, ведущих ее во мраке. Эти ночи были беззвездными, окутанными чернотой снежных туч. Но она нашла дорогу, ее вели демоны. Те же демоны, которые теперь вели нас.

Глава девятая

Я проснулся с первым светом в лютом холоде. Огонь погас, и я услышал, как Ставен застонал в тяжком сне. Затем наступила тишина, я ощутил полноту безмолвия и понял, что все окутано толстой пеленой снега. Я вышел во двор помочиться, а пес увязался за мной, повизгивая и сопя, словно чего-то ожидал от того, что я поднялся и вышел за дверь. Возвращаясь в сарай, я услышал петушиный крик, а в отдалении собачий лай. Два служителя в кожаных фартуках вышли с метлой и совком разгрести свежевыпавший снег. В холодном воздухе воняло лошадьми, и я увидел белый склон холма за городскими крышами. Потом я вспоминал все это очень ясно и с тоской, какую мы иногда испытываем по той жизни, которую потеряли навеки, хотя, быть может, потеряли мы только все, что было в ней драгоценного.

Оно казалось мне воплощением тихого мира, это холодное утро в беззвучии снега, упавшего на город и его окрестности. Странно, что оно выглядело таким, ибо, казалось бы, мои собственные беды должны были взять верх над благостью

вокруг, и грехи мои угнетали меня все больше. Я не кончил переписывать Пилато, я покинул пределы своей епархии без разрешения, я пел в харчевнях и проигрывал в кости мои священные реликвии, я возлежал с женщиной в блуде, я присоединился к странствующим комедиантам, а это прямо запрещено духовным лицам, каков бы ни был их сан. Вот так я оскорблял Бога и огорчал Линкольнского епископа, который был для меня отцом. Однако это было время, свободное от бед, в сравнении с тем, чему предстояло воспоследовать, когда мы представили Игру о Томасе Уэллсе.

Я не снял колпак Шута и, как мог, закутался в одеяние Евы и сидел, прислонившись к стене, а свет разгорался все больше, и из верхних комнат начали доноситься голоса. Мне пришло в голову, что я мог бы встать, сбросить эти комедиантские лохмотья и уйти в мирность утра в одеянии священнослужителя, которое было на мне, когда я повстречался с ними. И мое положение было сейчас точно таким же: меня мучили холод и голод, и у меня не было ни пенни. Только теперь я запутался между сыграть что-то или прожить вживе. Мне тягостно сказать, но я ведь решил говорить только правду, что сутана священника

мне тоже казалась личиной, такой же, как белый балахон, который Стивен носил как Бог-Отец, или власяница Антихриста. Или же я просто не мог отречься от моего греха. Но, как бы то ни было, мгновение это миновало.

Я увидел, как голова Соломинки приподнялась с узла, на котором покоилась, и недоуменно повернулась туда-сюда. Прыгун рядом с ним не шелохнулся. Маргарет лежала, как мертвая, под кучей красных сукон занавеса. Тут Мартин поднялся со своей постели, поежился, пробормотал что-то о холоде и пожелал мне доброго утра. И день вступил в свои права.

Утро было занято упражнениями, хотя в сарае недоставало места для того, чтобы выполнять движения во всей полноте. Тобиас и Маргарет вместе изготовили чучело Томаса Уэллса из подобранной с пола соломы, бечевок и разных тряпок и надели ему на голову белую маску, которую надевал Соломинка, когда изображал Модника. Никакого выражения на ней не было, ни доброго, ни злого. Чучело требовалось для того, чтобы показать перемену в смерти, и его легко было переносить.

Мартин намеревался повторить то же, что мы делали в Игре об Адаме, то есть чтобы мы переоде-

вались в сарае и возвращались среди зрителей. Но Прыгун, которому после смерти Томаса Уэллса предстояло стать ангелом, который покажет Монаху, где спрятаны деньги, не согласился.

— Не пойду я так близко от них, — сказал он. Прыгун был робкой душой и кое в чем походил на девушку: он не стыдился показать, что боится. Втайне мы были благодарны ему, ибо тот же страх прятался в нас всех. Некоторую меру страха комедиант испытывает всегда, потому что он у всех на виду и не может нигде укрыться, не покинув представление, однако теперь этот страх стал сильнее: мы знали, что близки к вмешательству в людские жизни. И потому мы порешили отгородить сукнами закуток в углу двора близ того места, где будем представлять.

Когда звон колоколов возвестил о полудне, мы все еще занимались отгораживанием. Полосы сукон подвязали к шестам, а шесты привязали к столбам, завесив угол там, где сходились две стены. Пока Стивен, Тобиас и я занимались этой работой, остальные развлекали зрителей — во дворе уже собралось больше людей, чем было на нашем прошлом представлении, и подходили все новые и новые. Соломинка и Прыгун крутили колеса навстречу друг другу, а Мартин встал на

руки, положил по цветному мячу на обе подошвы, красный и белый — те, которые он бросал мне, испытывая меня, — а потом прошелся на руках по обледенелым булыжникам, держа ноги так прямо, что мячи не скатились. Такого я никогда в жизни не видел.

Тут мы кончили занавешивать угол, и все, кроме Мартина с Тобиасом, собравшиеся в отгороженном месте, занялись переодеванием. Мартин с Тобиасом еще некоторое время продолжали развлекать зрителей — один подбрасывал мячи, а второй перекувыркивался в воздухе и ловил их. Затем Тобиас присоединился к нам.

— Двор набит битком, — шепнул он.

Мы стояли в тесноте нашего закутка и слушали сначала его тяжелое дыхание после кувырканий, а потом голос Мартина, начавшего произносить Пролог:

Почтенные, нас благосклонно примите,
Прием снисходительный вы окажите
Нашей Игре…

Мы придумали взять эти слова из Интермедии под названием Путь Жизни, внеся в них некоторые изменения в согласии с духом нашей Игры.

Однако, произнеся их, Мартин не ушел сразу к нам, но остался перед зрителями, что было для нас неожиданностью и, думаю, для него тоже. На несколько мгновений наступила тишина, со стороны зрителей не донеслось ни звука. И тут он снова заговорил, но уже своим голосом:

— Подарите нам свое внимание, почтенные. Игра эта о вашем городе. Она ваша, а такого еще не бывало, чтобы представить случившееся в городе, где оно случилось. И Игра эта воздает честь вашему городу, ибо показывает, как быстро здесь правосудие карает творящих зло.

Внутри нашего шатра из сукон мы безмолвно переглядывались. Тобиас хмурился, готовясь надеть маску Благочестия. Я увидел, что нижняя губа Соломинки подрагивает. В других я не вглядывался, но, думаю, всех нас охватил страх. Я подошел к занавесу и чуть-чуть раздвинул сукна. В этот миг над стеной со стороны моря показался край солнца, во двор пролилось слабое сияние, и мокрые булыжники заблестели. Странный свет лег там на все, снежный свет, хотя двор был чисто выметен; свет этот был мягким и в то же время безжалостным — в нем отсутствовали тени. Будто мили и мили снега снаружи сбросили сюда весь свой свет для нашего представления. И он

лежал на лицах зрителей, стоявших бок о бок, нарядившихся для базарного дня — обветренных лицах кабальных, более бледных лицах слуг и служанок, а между ними кое-где более хитрые или благообразные лица людей позажиточнее. Все эти лица были повернуты к Мартину, и его голос заполнял двор.

— Когда мы делаем Игру из злого деяния, то даем лишний случай Божьему милосердию пролиться на тех, кто представляет ее, и тех, кто смотрит. И как вы уповаете на милосердие, так не преминете даровать его нам, бедным комедиантам, и тем, кого мы изображаем. — Внезапно он раскинул руки ладонями к зрителям и выше плеч. — Добрые люди, — сказал он, — мы представляем перед вами нашу Игру о Томасе Уэллсе.

Тут он присоединился к нам, лицо его было спокойным, но дыхание чуть прерывистым. Соломинка, Прыгун и Стивен вышли из нашего угла, чтобы начать представление. Соломинка в чепчике деревенской женщины, в платье с прокладками, которые придавали ему пухлость. Стивен в собственной рваной куртке — той, которая была на нем при нашей первой встрече, когда он угрожал мне ножом. Прыгун как Томас Уэллс в своих собственных поношенных дублете

и чулках.

Тобиас скроил кошель из черного войлока, большой, который был виден всем. И Стивен подбросил кошель повыше, чтобы все его хорошенько разглядели, и он засмеялся на манер забулдыги — хо-хо-хо, небрежно уперев руки в боки и вертя туловищем. Этому его обучил Мартин, и выполнил он эти движения очень хорошо. И среди зрителей послышался смех, что человек хохочет после такой невыгодной сделки, ведь все знали, что корову пришлось продать из-за тяжкой нужды, и двое-трое выкрикнули это, но, как мне показалось, не в сердцах — если сам мужчина был среди них, он не подал и виду. Смех скоро замер, сменившись тишиной, и казалось это недобрым знаком.

Я следил за представлением в щелку между сукнами. Все делалось так, как мы задумали и разучили: мужчина напился, женщина забрала кошель и жестами объяснила опасности, грозящие ее сыну на шестимильном пути назад в город. Хотя юбка была широкой, а прокладки толстыми, Соломинка сумел прекрасно изобразить угрозы встреч с медведями, волками, разбойниками, а Прыгун отзывался на эти движения, поворачивая голову по-гусиному, показывая, что

он внимательно слушает и в знак своих добрых намерений.

Затем Стивен и Соломинка вернулись, чтобы переодеться, а я вышел на открытое место и начал мои наставления Томасу Уэллсу.

— Добрый Советник мое имя, а некоторые называют меня Совестью: моя обязанность и радость состоят в том, чтобы уговаривать и наставлять тебя и всех людей не сбиваться с пути жизни, каковой путь открыли нам страдания Христа.

Я говорил эти слова по мере того, как они приходили ко мне, все это время не отводя глаз от Прыгуна и повторяя жест наставничества — правая рука поднята, три средних пальца вытянуты. Зрители начали переговариваться между собой, переминаться с ноги на ногу, наставление они сочли слишком длинным. Затем вновь наступила внезапная тишина, я отвел глаза от Томаса Уэллса и увидел, что появилась женщина в платье, парике и маске соблазнительности — Соломинка надел круглую солнечную маску Змия до Падения.

На миг я запнулся. В ярком бестеневом свете, заливавшем двор, багряное платье, желтый парик и застывшая улыбка белой маски с розовыми кружками на щеках поражали взгляд. Я задышал

чаще, будто от потрясения. Но она не приблизилась, а осталась на расстоянии, вначале храня неподвижность, пока я продолжал мои добрые советы Томасу Уэллсу, используя теперь строки, хранившиеся у меня в памяти:

К духовному не будь слепым,
Не прилепись к делам земным,
Ведь смерть приял Христос
За жизнь твою…

Но глаза зрителей не были обращены на меня. Они не спускали их с женщины, едва она начала пантомиму наслаждений. И опять-таки это Мартин придумал, чтобы женщина держалась на расстоянии и жестами изображала наслаждения, пока я все еще продолжал свои советы: так слова духа и жесты плоти состязались между собой.

Замысел Мартина, да, но Соломинка сотворил из него то, что было по силам только ему. Из нас всех он был самым одаренным в Игре. Мартин обладал большим искусством и чутьем к зрелищу, форме и смыслу представления, далеко превосходя всех нас. Но Соломинке было присуще чувство игры или, вернее, сочетание этого чувства и умения естественных порывов тела, не знаю, как их назвать, но это то, чему нельзя ни научить, ни

научиться. Для роли соблазнительницы он придумал странный и пугающий способ наклонять тело вбок, на миг изогнув голову в вопросе, а руки держа на высоте пояса, вывернув ладони наружу и растопырив пальцы в жесте собственного изобретения. И на миг проверки, как действуют его соблазны, он замер в злокозненном вопрошении. Затем он возобновил гибкие движения, рисуя восторги, которые ожидают Томаса Уэллса, если он всего лишь последует за соблазнительницей: пироги, и лепешки, и сладкие напитки, и тепло очага, и нечто большее — в его извиваниях чувствовался еще и блуд.

Этот переход от плавных движений наслаждения к неподвижности вопрошения внушал страх — даже мне, хотя я видел, как он упражнялся в этой позе один в углу сарая. Зрителей сковало безмолвие. Взглянув на комнаты вверху, я увидел открытые окна и следящие за нами лица, одно из них было совсем белым под черной, плотно прилегающей к голове шапочкой, и я сообразил, что это, наверное, судья. Я подошел к концу моих наставлений:

Грех поначалу ты сладким найдешь,
Но расплата грядет, от нее не уйдешь.

Чуть во прах ты отыдешь…

Томас Уэллс стоял между нами в своем серо-буром дублете, глядя то на нее, то на меня широко открытыми глазами на испуганном лице. Он поворачивал тело в талии к тому, на кого глядел, держа голову прямо, и я видел, какие усилия он делает, чтобы дышать, и ощутил в себе его страх, быть может, из-за мертвой тишины — зрители не болтали, не толкались в шутку, они словно онемели.

Соломинка, наверное, испытал то же чувство. На него всегда воздействовали перемены в настроениях, и он был непредсказуем в своих откликах на них. И теперь он сделал жест, в котором никогда не упражнялся. До этого в его движениях была некоторая похотливость, но больше для зрителей, чем для мальчика. Но теперь он провел ладонями вниз по телу в длинном движении любви к себе, сложил их наподобие наконечника стрелы и провел этой стрелой вниз к паху и задержал ее там в форме mons veneris[12], и сделал он этот жест для Томаса Уэллса, раскачиваясь всем телом, — жест гордыни и власти и гнусного призыва. Я исчерпал свои слова, а женщина все

---

[12] Сноски: 12
лобок *(лат.)*. Букв.: холм Венеры.

еще стояла, указывая на место наслаждений, и ткань платья натянулась на развилке ее тела, обрисовывая скрытые под ней мужские части.

Томас Уэллс пошел к ней, тоже теперь играя по наитию, двигаясь, как между явью и сном, высоко поднимая ноги, будто зачарованный. Я обернулся к зрителям и, приподняв руки, слегка пожал плечами в жесте скорбной покорности судьбе. Однако теперь, когда мальчик сделал первые шаги, среди зрителей внезапно раздался голос — вопль гнева или горя. Женский голос, вырвавшийся из безмолвия и потому обретший особую силу. Соломинка обернулся взглянуть, откуда донесся вопль, и я услышал его судорожное дыхание, увидел, как вздымается и опускается его грудь. Я шагнул вперед, опустил голову и вновь сделал жест скорбной покорности судьбе, надеясь дать время Прыгуну и Соломинке удалиться за занавес и подготовиться к сцене убийства. Но женщина снова закричала, и теперь это были слова.

— Так не было! — кричала она. — Мой сынок не пошел с ней! — Ее голос был громким, хотя прерывался от слез. Смотрела она не на нас, она смотрела на людей вокруг себя, что было еще хуже. — Мой Томас был хорошим мальчиком! — кричала она, взывая к ним.

Теперь среди зрителей раздавались все новые крики. По их толпе пробежало движение, шорох обещания расправы. Угроза избиения комедиантов рождается точно посвист ветра в деревьях. Раз услышав, его уже не забудешь никогда. Мы, трое, окаменели на месте. Мы не могли продолжать под крики и не могли уйти, положив конец представлению. Тут из-за занавеса вышел Мартин в капюшоне Рода Человеческого, но сразу отбросил его, став лицом к людям и повернув ладонь в знак смены темы.

— Добрые люди, почему он пошел с ней? — закричал он. — Томаса Уэллса убили не на дороге.

Это перекрикивание криков вызвало мгновение тишины, и Мартин громким голосом прервал ее. Лицо у него побелело, но голос был уверенным и спокойным.

— Помилуй Господи, никак не там, — сказал он. — Она не тронула бы его на дороге, где ходят люди. — Безмолвие еще продолжалось, и он быстро обернулся ко мне, указующе протянув руку: — Ты, Добрый Советник, скажи нам, почему Томас Уэллс не послушал тебя?

Я знал, что должен ответить немедля, пока нас еще можно было услышать. Я произносил слова, едва они приходили мне на ум:

— Увы, почтеннейший, человек живет, ища наслаждений…

Тут под взглядом Мартина Прыгун достопамятно победил свой страх. Он сделал шаг-другой вперед с жестом, сопровождающим признание Адама.

— Женщина соблазнила меня, и я пошел с ней, — сказал он. При этом он повернулся к Соломинке и очень быстро и кратко пошевелил пальцами правой руки, заслоняя ее туловищем от зрителей. Тогда я этого знака не знал, но так просят того, на кого смотрят, чтобы он что-то повторил. — Плотью своей она соблазнила меня, — сказал он.

Соломинка выпрямился. Солнечная маска Змия смотрела на нас и на зрителей с неугасимой улыбкой. Тем же быстрым движением, что и в первый раз, соблазнительница приласкала себя, сложила руки стрелой у места похоти, покачала плечами в гордыне, упиваясь своей властью. И в безмолвии зрителей, вновь нерушимом, я услышал шорох крыльев голубя, взлетевшего над крышей гостиницы.

Теперь наконец мы могли все скрыться за занавесом — все, кроме Томаса Уэллса, который оставался все время, пока Алчность и Благочестие

готовились к борьбе за душу женщины. Вот так мы были спасены нашими собственными усилиями. Но эти же усилия, это спасение в последний миг от неминучей беды освободило в нас что-то, прежде запертое в клетке.

Первым показал это Прыгун, оставшийся один перед зрителями. Существует отчаянная лихость, пробуждающаяся в боязливых, когда они преодолевают свои страхи, и, может быть, она-то теперь и вела Прыгуна. Он намеревался перед убийством повеселить людей старой пантомимой об укравшем яйца воре, когда эти яйца разбиваются у него под одеждой. В ней он упражнялся и смешил в сарае нас всех. Однако теперь он заговорил со зрителями напрямую. Стоя за занавесом бок о бок, мы услышали его голос, звонкий и ясный, все еще хранящий что-то детское. Мы услышали, как он задал вопрос, очень простой, но не пришедший в голову никому из нас.

— Отгадайте мне загадку, добрые люди, — услышали мы его слова. — Откуда женщина знала, что я несу кошель? Нашептал ли ей про это какой-нибудь демон? Подбрасывал ли я его вверх-вниз, пока шагал по дороге? А если и подбрасывал, разглядела бы она его с того места, где стояла на выгоне в угасании зимнего дня?

Стивен нагнул длинное туловище, чтобы поглядеть в щель между сукнами.

— Он ходит взад-вперед перед ними, подбрасывая кошель, — хрипло прошептал он. Его темные глаза казались шире обычного, сильнее выделялись на его лице.

— Пойди заговори с ним, Стивен, — сказал Мартин, — прежде чем они снова придут в ярость. Говори все, что придет тебе на ум. А потом выйдем мы с Тобиасом и вступим в спор.

Стивен как комедиант был слабее, но он обладал упорством, которое теперь хорошо ему послужило. Он полностью владел своим голосом и уверенно направился к Прыгуну. Даже без позолоты Бога осанка его была величавой, вопреки его разбойничьей натуре.

— Томас Уэллс, — сказал он своим низким басом. — Ты бахвалился им. Ты бахвалился кошелем перед этой женщиной.

Мы услышали, как Прыгун прокукарекал притворным смехом, и тут среди зрителей раздался голос, злобный и громкий:

— Дурень скоморох, зачем она подошла так близко, что услышала похвальбы мальчика?

Но уже вперед выступили Алчность и Благочестие по бокам женщины, и они начали медленно

расхаживать вперед-назад, останавливаясь, чтобы произнести свои слова, а затем продолжали расхаживать. В Битве за Душу комедианты обычно стоят неподвижно, каждый на своем месте, и говорят по очереди. Но Мартин потребовал побольше движения и долго упражнялся с Тобиасом в этих расхаживаниях и остановках.

Так мы и продолжали некоторое время, придерживаясь того, в чем упражнялись. Но мы были уже не теми людьми, что упражнялись… Смена масок у Соломинки прошла очень удачно, и зрители были поражены. Он сменил маски за спинами Алчности и Благочестия, которые вышли вперед и остановились бок о бок лицом к зрителям и раскинули свои плащи — белый у Добродетели, черный у Порока. Потом они разошлись вправо и влево, открыв женщину в демонской маске, и она вскинула руки, сцепила пальцы и зашипела на зрителей, и некоторые зашипели в ответ. Это показывало, что Отец Зла восторжествовал. Солнечную маску Соломинка спрятал у себя под платьем.

Удушение Томаса было показано пантомимой. Соломинка проделал ее один перед зрителями без мальчика. Так мы решили между собой, перешептываясь за занавесом. Мартин хотел

оставить все так, как было задумано, чтобы мальчик был задушен у всех на глазах, потому что впечатление было бы сильнее, а это для его души фанатика значило больше безопасности. Однако все остальные были против — нам не хотелось навлечь на себя ярость зрителей во второй раз. Так что мы сразу же перешли к подкидыванию чучела у дороги и к нахождению денег.

Нахождение прошло хуже, чем мы думали. Кое-что выходит лучше в упражнениях, чем на представлении. Мартин в роли Монаха сделал все что мог, рыскал туда-сюда, торжествуя, высоко поднял кошель, когда нашел его, а Соломинка, все еще в демонской маске, трусливо жался у стены. И все-таки тут не хватало силы, как мы все почувствовали. Возможно, то, что произошло дальше, объяснялось нашим желанием поправить дело. Или, быть может, причиной было то, что Мартин, пока искал, прятал кошель у себя в рукаве, так как укрыть его там было негде. Начал Стивен как слуга Монаха, и это тоже по-своему было неожиданным — ведь он, хотя воинственно возражал в спорах, меньше кого-либо другого был способен нарушить ход представления после того, как решение было принято. Может, он был уязвлен тем, что его обозвали дурнем, хотя ниче-

го про это не сказал. Заговорил он в рифму, как потом и все мы, и рифмы напрашивались легко, без запинки, сами собой — мы были одержимы.

Мартин с торжеством высоко поднимал кошель. Стивен исполнил жест указывания, который делают правой рукой, вытягивая ее во всю длину насколько возможно. Соломинка жался в стороне в тисках вины и страха. Я вышел из-за занавеса, чтобы произнести перед зрителями поучение на тему Божественного Правосудия. Тобиас вышел за мной в маске Благочестия, ломая руки и стеная. Чучело Томаса Уэллса лежало перед нами на мокрых булыжниках, повернутая к зрителям белая маска не выражала никаких чувств, ни хороших, ни дурных. Внезапно, без всякого предупреждения, Стивен опустил руку, сделал два шага к зрителям и заговорил:

Люди добрые, свершив столь злое дело,

Возможно ль деньги скрыть так неумело?

И тотчас, будто это были слова, которых он ждал, Соломинка выпрямился, быстрым движением снял маску и показал нахмуренное лицо, которое она прятала.

Загадку знающий ответит смело,

Что привело Монаха в этот дом?

Благочестие позади меня перестало стенать. Миг спустя Тобиас заговорил, и я услышал дрожь в его голосе и понял по более чистому его звуку, что он тоже снял маску.

Прельстился женщины лицом.

Без предварительного соглашения между нами, толком не понимая, как это произошло, мы, все пятеро, теперь стояли в ряд лицом к зрителям, а соломенное чучело мальчика лежало у наших ног. *Я* ощутил внутри себя ледяную дрожь и преодолел ее и заговорил:

Лицо она бы не открыла в холод злой,
Ведь капюшоны носим мы зимой.

Я видел ряды лиц передо мной и лица, глядящие с галереи. В глазах у меня мутилось, все эти лица слились в одно, зрители зашумели. Мартин стоял в середине, мы — по двое справа и слева от него. Он снова поднял кошель высоко тем же самым жестом торжества. Но что-то изменилось. И изменение это было ужасно. Кощунственно. Он сыграл это, как кульминацию мессы, подняв черный кошель обеими руками, вознеся его как мог выше, будто это были Святые Дары, и возвысил

голос, заглушая ропот зрителей:

Те ищут, кто надеется сыскать,
Где он лежал, мне не пришлось гадать…

Мы намеревались завершить представление пантомимой казни, но теперь всем нам стало ясно, что мы уже завершили Игру о Томасе Уэллсе. Мы выждали еще мгновение, затем повернулись все вместе, ушли за занавес и стояли там молча. Лица моих товарищей исполнились страхом, будто перед ними предстало некое видение или же они очнулись от зловещего сна, и, думаю, мое было таким же. Занавес, что скрывал нас, хотя и ветхий, служил защитой. Никто не явился, чтобы разделаться с нами. Постепенно шум стихал, люди покидали двор. Но мы продолжали стоять не двигаясь и молчали. Нашу зачарованность нарушила Маргарет, которая принесла деньги. Мы собрали десять шиллингов, шесть пенсов и полпенни — больше, чем когда-либо они выручали за одно представление.

А ведь мы затеяли все ради денег — во всяком случае, так казалось тогда. Помню, как мы стояли и смотрели на них, разинув рты. Миновало время, и теперь уже трудно решить, правда ли, что

причиной были деньги, или же некая сила сотворила из них приманку для нас. Если в тот день шла битва за наши души, можно подумать, что победу одержала Алчность, как и в битве за душу женщины. Но ведь была зима, нам предстояло еще несколько дней брести по скверным дорогам, причем нам всерьез угрожала смерть от голода. Что же удивительного, если деньги соблазнили нас? Но в любом случае смею сказать, мы тут ничем не отличались от Монаха, духовника Лорда, Симона Дамиана, как его звали, о чем мы узнали позже, — от того, кого изображал Мартин, когда в странном завершении нашего Действа он поднял на высоту кошель с деньгами, будто Святые Дары. Ибо ради чего он пребывал там, в замке, служа семейству де Гизов, как не ради того, чтобы обеспечивать приношения и привилегии своему ордену, причем без всякого на то права, ибо монахи эти более не соблюдают правил своего устава, а он требует отказа от собственности, воздержания от убоины, постоянного труда в поте лица и строго воспрещает покидать монастырские пределы. Они владеют лошадьми, охотничьими псами и оружием, они вдосталь едят говядину и баранину, в полях трудятся их крепостные, они надолго покидают свои монастыри, вот как этот.

Странно подумать, что я, точно как с Бренданом, не видел его живого лица.

Мы все еще стояли там, все шестеро, бок о бок. Глаза Соломинки выпучились, а Прыгун раскраснелся и почти плакал. Лоб Мартина, несмотря на холод, покрывала испарина, но его глаза, когда он увидел деньги, просияли.

— Теперь мы можем положить наши собственные шиллинги в кошель Монаха, — сказал он, все еще держа кошель. — Добрые люди, никогда в жизни вы еще не играли так хорошо.

Маргарет поднялась с коробкой на галерею и попросила деньги у людей, которые смотрели представление оттуда. И собрала там больше трех шиллингов.

— Судья заговорил со мной, — сказала она, и лестность этого растопила маску равнодушия на ее лице, оно выглядело помолодевшим, и она держала голову выше, а говоря, открывала рот шире. — Он задавал мне вопросы, — сказала она. — Он долго со мной разговаривал. Он сказал, что я красива и должна жить в достатке.

— Он умеет распознать шлюху, — сказал Стивен.

Под многолетним загаром лицо Тобиаса стало пепельным. Обтянутые кожей челюсти крепко

сжались.

— Братья, мы что-то тут расшевелили, — сказал он. — Заберем деньги — и в путь. Я с самого начала знал, что это опасная глупость.

— Ты первый ее поддержал, — сказал я, и он свирепо уставился на меня. Мы все до того измучились, что объятия или ссора были возможны равно.

— Почему Добрый Советник не придерживался Игры? — сказал он. — Ты был перед зрителями и вдруг забредил что-то про холодную погоду и капюшон.

— Я не бредил, — сказал я. — Все начал Стивен, когда задал зрителям вопрос про то, как были спрятаны деньги. А Соломинка сразу же подхватил.

Но искать виноватого среди нас не имело смысла. Что-то овладело нами, и мы все это знали.

— О чем судья спрашивал тебя? — сказал Мартин.

— Он спросил, откуда мы и куда направляемся. Он спросил, кто придумал представить это убийство и как мы узнали столько за такое короткое время.

— А ты? Что ты отвечала?

— Да то, что он хотел узнать. А что тут такого?

Я сказала ему, что придумал это ты, а он спросил, как твое имя, и я ему сказала. Что тут плохого?

Мартин улыбнулся.

— Ничего плохого, — сказал он. — Ты правильно поступила, Маргарет, что поднялась с коробкой на галерею.

— А мы все поступим правильно, если уберемся из этого города пока можем, — сказал Прыгун.

Мартин все еще улыбался.

— Убраться из города? — сказал он. — Но мы обещали представить Игру еще раз.

Мы смотрели на него, а он стоял и улыбался в красноватом свете, просачивающемся сквозь сукна, с пустым кошелем в одной руке и коробкой с деньгами в другой. На лицах остальных я не увидел никакого выражения. Теперь, я думаю, нас уже ничто не удивляло.

— Представить Игру еще раз? — сказал Стивен. — Как так — обещали? Когда оповещали об Игре? Оповестить не значит обещать.

— Мы собрали больше десяти шиллингов, — сказал Мартин. — А вечером соберем еще больше.

— Но ведь мы уже собрали достаточно, — сказал я. — достаточно, чтобы добраться до Дарема. Больше чем достаточно.

— Мы можем собрать еще столько же, — сказал Стивен и сделал знак денег, быстро сжимая и разжимая выставленный вперед кулак. В том, что Стивен немедленно выразил согласие остаться, ничего удивительного не было, во всяком случае, так мне кажется сейчас. Он был крепок телом, но туп воображением и слаб в понимании вещей.

— Еще столько же? Да мы соберем вдвое больше, — сказал Мартин. — Молва о нашей Игре разнесется далеко. А в темноте, с факелами по стенам…

— Господи, помилуй нас, прекрасное будет представление, — сказал Соломинка. Странные создания комедианты! Хотя он был еще бледен и измучен, но заплескал в ладоши при мысли об этом, при мысли о себе, о том, как он опять явится перед зрителями. Соломинка редко думал дальше своих ролей.

— Мы купим хорошей кожи, и Тобиас починит наши сапоги, чтобы в пути ноги у нас оставались сухими, — сказал Мартин. — Маргарет купит ткань на новое платье. От непогоды у нас будут хорошие плащи с прокладкой, у каждого свой, и мясо и эль всю Рождественскую неделю. А ты получишь пирог с дичью, Прыгун.

Бедняга Прыгун улыбнулся на эти слова, а слезы

у него на щеках еще не высохли. Вновь Мартин поставил на своем и убедил нас. Но, думаю, дело тут было не просто в деньгах, и в сердцах наших мы уже это знали.

— Игра теперь не та, какой была, — сказал Соломинка. — И мы не те, роли изменились.

— Монах ее лица не видел, — сказал Тобиас, вдруг повысив голос. — Пасти коз — холодная работа. Никлас верно сказал, она бы куталась в платок или надела бы плащ с капюшоном. — И он улыбнулся мне, кивнул, и мы снова стали друзьями.

— Может, он узнал ее по платью, — сказал Прыгун.

— Это указывает, что он хорошо ее знает, — сказал Мартин. — Как хорошо он ее знает, дочь бедного ткача?

— Как хорошо она его знает? — сказал Стивен.

— Вот почему она спустилась на дорогу? — сказал Прыгун. — Завидев не мальчика, а завидев Монаха?

— По ту сторону неподалеку лес, — сказал Стивен. — Я ходил туда посмотреть. Подходящее место для встреч.

Я уже сказал раньше, мы были одержимы. Мы видели, как приближается опасность, но мы не

могли перестать играть в отгадки, не могли удержаться. Отгадывал и я. И произнес слова, которые были мне будто подсказаны.

— Он ехал один, — сказал я. — С ним никого не было.

— Если она спустилась для встречи с Монахом, — сказал Соломинка, — где был мальчик, где был Томас Уэллс? Он подсмотрел их вместе?

— Нам нужно узнать побольше, — сказал Мартин. — И тогда мы покажем такую Игру, о которой в этом городе никогда не забудут.

Его лицо было бледным, светлая кожа казалась почти прозрачной, рот с пухлой нижней губой крепко сжат, как всегда, если он был возбужден или чем-то увлечен. Никто больше ничего не добавил. Мы все еще стояли тесным кругом, будто заговорщики, готовящиеся принести клятву. Тут Соломинка вздрогнул и обхватил себя руками.

— Это безумие, — сказал он, и я увидел, как Прыгун взял его за руку.

— Нам надо узнать побольше, — повторил Мартин. — Мы должны опять пойти в город. — Он посмотрел прямо на Маргарет: — Ты сможешь снова найти этого Флинта, ну, того, кто нашел мальчика?

— Я могу порасспрашивать, — сказала она. — Я

знаю его дом. — Она помолчала, потом сказала: — Он видел нашу Игру, он заплатил пенни у ворот.

— Сможешь ты опять угодить ему, как угодила в тот раз, а взамен задать ему вопрос?

— Какой вопрос?

— Спроси его, не помнит ли он, было ли тело мальчика в инее, когда он его нашел?

— В инее?

— Да-да, — сказал он с внезапным нетерпением. — Спроси его, побелела ли одежда мальчика от инея и был ли это легкий иней или одежда промерзла. Когда его нашли, было раннее утро, едва рассвело. Все эти дни земля была твердой от заморозков. Помнишь, когда мы обсуждали, что нам делать с Бренданом? Нам пришлось привезти Брендана сюда, потому что сами мы не могли похоронить его в такой твердой земле без кирки и лопаты.

— Причина, по которой мы привезли Брендана сюда, была в том, что ты хотел устроить ему церковные похороны. — Стивен был злопамятен и воспользовался случаем свести счеты. — Тогда нам пришлось заплатить попу, — сказал он. — А тогда мы должны были сыграть эту Игру, чтобы возместить такую трату.

— И разве мы этого не сделали? Брат, пусть ты

говоришь правду, но так или не так, утра-то все равно были морозными. Если мальчик пролежал всю ночь у дороги, укрытый только темнотой, в уголках его глаз были льдинки, а складки одежды заскорузли от инея. А если нет, то его отнесли туда или убили там рано поутру, незадолго до того, как его нашел Флинт.

— Рано поутру? Но кто же тогда мог быть на дороге?

— Его убийца, — сказал Мартин. В наступившей затем тишине он обвел взглядом наши лица. — Мы разойдемся и узнаем побольше, — сказал он. — Игра, которую мы представили, была Ложной Игрой о Томасе Уэллсе. Сегодня мы покажем истинную. И оповестим об этом на улицах. А завтра, когда мы отправимся в Дарем, у каждого из нас будет достаточно денег на целый месяц.

Достаточно денег на месяц! Для бедных комедиантов это почти то же, что на всю жизнь. Иногда мне вновь вспоминается его торжество, когда он поднял кошель над головой обеими руками точным жестом священника, служащего литургию. Насколько сам он верил тому, что говорил нам? Он говорил об Игре истинной и ложной, но вкладывал в эти слова не их обычный смысл. Ему требовалась Игра с сильными сценами, такая,

которая тронет зрителей, чтобы они разошлись не такими, какими пришли. Вот истинная Игра. И ему были нужны деньги. Он уговорил нас — уговорить нас было его ролью. Слова, которые он произносил, подсказывались ему, как и всем нам. Какое-то обаяние власти толкнуло нас ввергнуть себя в узы этой Игры о Томасе Уэллсе.

Глава десятая

Мы опять отправились в город раздельными путями. Никто не сказал другим, что он будет делать. Я пошел на рыночную площадь, где можно было оглохнуть от кудахтанья кур, гоготания гусей и криков бродячих торговцев, зазывающих покупателей. Снег между прилавками был истоптан, превращен в месиво, его испещряли пятна мочи, обрывки перьев, обломки кочерыжек и моркови. Небо было ясным и бледным в прядях облаков, похожих на состриженное овечье руно. Среди толпы расхаживал человек на ходулях, оповещая, что в городской бане хорошая горячая вода. Оборванец, стоя на коленях в снегу, жонглировал тремя ножами.

Я увидел нищего, который сидел у нашего огня и говорил о пропавших детях. С прилавка, возле которого снег был утоптан, скатилось яйцо и разбилось. Желток зазолотился на снегу, тощий пес увидел его одновременно с нищим, оба кинулись туда, и нищий пнул пса ногой, пес взвизгнул, попятился, но не убежал, осмелев от голода. Нищий сдвинул ладони под яйцом, сгребая его вместе со

снегом, и забрал его в рот, и съел все вместе — яйцо, осколки скорлупы и снег. Он увидел, что я смотрю на него, и улыбнулся знакомой улыбкой, и мокрые следы яйца и снега заблестели на его невинном лице. Тут я вспомнил, как он называл имена, словно в простоте его ума они хранились, как заученный урок, и я подошел к нему и спросил об имени отца женщины. Он назвал его сразу, по-прежнему улыбаясь.

— Его имя Джон Ламберт, добрый хозяин. Отец той, кого должны повесить, зовется Джон Ламберт.

Я дал ему пенни, и он отвернулся, крепко зажав монетку в кулаке. Но, отворачиваясь, он на миг поднял правую ладонь перед лицом в том же жесте ослепления.

— Она бы сказала, где все другие, если бы ей дозволили говорить, — сказал он, заковылял прочь, и я потерял его из виду в толпе.

«Она живет на краю выгона… — Кто-то сказал это накануне, когда мы беседовали между собой. — Ее отец ткач». Я подумал, что в базарный день он скорее всего где-то здесь, однако, быть может, я все-таки застану его дома, а ничего другого мне в голову еще не пришло. Однако прийти к нему и назваться священником или комеди-

антом было бы бесполезно. И тут я подумал, что могу притвориться писцом судьи. По воле случая я, когда мы уходили из сарая, закутался в плащ Алчности — ничего теплее уже не осталось. И на мне была черная шляпа, которую, уходя, я всегда надевал, чтобы прикрыть мою бритую голову.

Я вышел через рыночную площадь на улицу, которая выводила из города к перекрестку, где накануне вечером нас остановили всадники, и мы увидели судью с его свитой. Там ответвлялась тропа, огибавшая выгон. На лугах лежал ничем не тронутый снег. Его кристаллы посверкивали на склоне, по которому я поднимался. Серебро коры буков по краям выгона от этой снежной белизны казалось потемневшим, а овцы выглядели грязными на ее фоне. Я хорошо помню, как шел по этой тропе. Казалось, я свободен и снова вольно странствую, не обремененный инкубом смерти мальчика. Я быстро шагал вверх и ощущал юность моей крови. Башмаки я обвязал обрывками холстины и до колен обмотал ноги сукном, как все мы перед тем, как покинуть сарай, и ступни у меня все еще оставались достаточно сухими. Я увидел цепочку лисьих следов, уводящую в кусты.

Мне встретился человек с вязанкой сухих веток

дрока на спине, растопкой, которую он раздобыл в чаще кустов, где ветки остаются сухими, и я спросил его, не знает ли он дом Джона Ламберта. Мне показалось, что он посмотрел на меня как-то странно, и прикинул, не запомнил ли он моего лица во время представления. Но мой плащ был очень широким, как положено Алчности, в нем уместилось бы двое таких, как я, и он был старинного покроя. Да и человеческий взгляд всегда странен. Он указал на каменный коттедж выше по склону, окруженный тыном. Это был дом с коровником, вплотную примыкавшим к жилой половине, и одним входом посередине. Из дыры в соломенной кровле курился прозрачный дымок. Я прошел через двор, где гуси вытянули на меня шеи и подняли гогот. Я позвал и остался ждать на каменных плитах у крыльца. Снег с них был сметен, и на плите, где закололи свинью, виднелась корочка засохшей крови. После нескольких мгновений ожидания я услышал, как внутри отодвинули деревянный засов, и высокий человек с изможденным лицом посмотрел на меня с порога без особой дружелюбности.

— Что еще? — сказал он. — Чего тебе нужно от меня? — Голос у него был сильный и хрипловатый, словно он часто им пользовался.

— Меня послал судья, приехавший в город, — сказал я. — Он желает убедиться в вине твоей дочери. Я послан узнать подробности дела и доложить ему.

Его глаза медленно оглядели мою особу, шляпу, плащ, обмотки на моих башмаках и голенях. Глаза белесые, почти бесцветные, будто их выбелили, и глубоко посаженные.

— От королевского судьи? — сказал он. — Ну так входи.

В доме стоял почти такой же холод, что и снаружи. В кирпичном очаге на середине комнаты горела кучка щепок, и дым повисал в воздухе. Его станок стоял возле единственного узкого окошка, а у стены лежал его соломенный тюфяк. Дальше была дверь, которая, подумал я, вела в комнату, где спала женщина.

Ткач стоял и смотрел на меня. В комнате был стул с высокой спинкой, но он не предложил мне сесть. Костяк у него был крупный, но он совсем исхудал, то ли от болезни, то ли от голода. Он поднял руки и начал разминать пальцы, посиневшие от холода. Это были толстые, сильные пальцы — достаточно сильные, чтобы задушить мальчика или мужчину. Каким-то образом он заполнял всю комнату, и для меня словно бы

не оставалось в ней места. Я крепче закутался в плащ, не желая, чтобы он увидел рваный дублет Брендана под ним.

— Меня послал мой господин, — сказал я, — собрать сведения о том утре, когда капеллан лорда пришел сюда в твой дом и нашел украденные деньги. Возник вопрос касательно…

— Монах никаких денег тут не находил. — Слова были медлительными, с хрипотцой. Это был голос, привыкший произносить их. Не отрывая от меня глаз, он обвел рукой пустую комнату. — Погляди вокруг себя, мой юнец, которого прислал судья. Украв деньги, убив, чтобы их украсть, стал бы ты прятать их в своем жилье, когда вокруг везде луга и леса?

— Но кошель можно было бы спрятать даже и здесь, — сказал я. — Они подозревали, а потому пришли, готовые искать.

— Они пришли, готовые найти, — сказал он. — Как имя твоего господина, судьи?

Такого вопроса я не предвидел, не привыкнув обманывать.

— Стэнтон, — назвал я первое имя, подвернувшееся мне на язык. — Его имя Уильям Стэнтон.

Пауза была излишне долгой, но он словно бы не заметил, что тут что-то не так, и продолжал

смотреть на меня с той же пристальностью, но теперь со странной бесстрастностью, как смотрят на плывущий листок или на облако странной формы в небе. Меня это смутило, и я допустил еще один промах.

— А где точно найдены были деньги? — спросил я у него.

Он помолчал, а потом сказал совсем, совсем спокойно:

— Все это есть в обвинениях, которые дьявольское отродье бенедиктинец изложил шерифу лорда. Судья может прочитать записи, буде пожелает того. И не нужно было человеку идти сюда по снегу, чтобы спросить меня об этом. Ты как будто толком не знал имени своего господина. Можешь назвать мне имя монаха?

Ответить я не мог и только смотрел на него.

— Симон Дамиан его имя, и Бог обличит его, — сказал он. — Ты ведь пришел не от судьи, брат, так?

— Да, — сказал я. — Не от него, это правда.

— Бог открывает мне всякую ложь. Ибо Он — вся истина, и Он обитает во мне, — сказал он тем же голосом. — Дети Духа причастны природе Бога. Я сразу понял, что ты не тот, кем назвался. Поверь я тебе, то не разомкнул бы губ.

Я заговорил, но он оборвал меня.

— Я ничего не сказал бы тому, кого прислал бы любой судья, — сказал он. — Судьи подобны попам, исчадиям Ада, бешеным волкам, что терзают овец и пируют кровью бедняков. Но приидет время, и люди восстанут. Я говорю людям: уповайте, поступайте, как мудрый земледелец, который убрал пшеницу в житницу свою, а плевелы вырвал с корнем и сжег. — Теперь он смотрел на меня, и его белесые глаза озарил свет. — Мы знаем сии плевелы, — сказал он. — Пусть они остерегаются, пусть они страшатся, ибо близко время жатвы.

У меня был соблазн открыть ему, что я ношу сан, а потому лучше него знаю, что выбирает Бог Своей обителью. Но скажи я это, он выгнал бы меня. И все же мне не хотелось оставить подобную ересь не опровергнутой. И, вступив с ним в спор, я словно бы очистил для себя больше места в этой комнате. Ткач был исполнен силы и каким-то образом отнимал у меня весь воздух.

— Не нам судить, кого ждет пламя, — сказал я. — Бог — судия, и обитает Он особо. Брат, ты разгадал меня не потому, что в тебе обитает Бог, но потому, что солгал я неумело. Будь я лжецом половчее, ты бы мне поверил.

Вот так я обратил мою ложь на служение Богу, провозгласив Его особое существование. И только позже мне пришло в голову, что было бы лучше помолчать и раскаяться в своей лжи.

— Природа человека греховна, — сказал я, — и была такой со времени изгнания из Эдема. Он может быть искуплен, но Бога в нем нет и быть не может. Наш путь к искуплению лежит через Святую Церковь, иного пути нет. Extra ecclesiam nulla salus.[13]

— Ты говоришь, как слуга Антихриста, который пришел сюда и увел мою дочку, и теперь мне надо не только трудиться за станком, а еще ухаживать за козами и гусями, — сказал он. — Ты пришел от него? Ты тоже из воинства Антихриста? На тебе не твое одеяние, а в этом их знак. — Он сплюнул в сторону и сотворил крестное знамение. — Кто бы ты ни был, — сказал он, — и кто бы тебя ни послал, я опять скажу, что никаких денег тут не нашли. Они меня ненавидят, ибо я странствую, свидетельствуя и обличая богачей и попов. Они знают, что их дни сочтены… Они ищут представить меня перед судьями, но боятся, что люди поднимутся, если сделают они это без

---

[13] Сноски: 13
Вне Церкви нет спасения *(лат.).*

весомой причины. Сейчас достаточно искры. Я один из предвестников. Как плевелы сбираются и сжигаются в огне, так будет при конце света, и грешники будут завывать в Аду вовеки.

— Но забрали не тебя, — сказал я. — Это она, твоя дочь, приговорена к смерти.

— Меня? Как могли они забрать меня?

Я было подумал, что он сошлется на особую защиту Бога, и готов был возразить, но он поднял ладонь, останавливая меня, — жест оратора, требующего, чтобы его не перебивали: рука согнута в локте и приподнята под небольшим углом, ладонью наружу. И я решил хорошенько его запомнить.

— Ты ничего об этом не знаешь, — сказал он. — Ты здесь чужой. Зачем ты пришел меня расспрашивать?

Тут я объяснил ему, что я комедиант, что мы хотим представить Правдивую Игру о Томасе Уэллсе и стараемся узнать правду о случившемся и так показать это людям.

— Вы покажете это в Игре? — сказал он. — Вы сделаете Игру из правды?

— Мы можем показать, что это правда, представив ее в Игре, — сказал я.

По его лицу было видно, что он считает это

греховным делом, и я хорошо его понимал, ибо и сам отчасти так думал. Он помолчал, опустив голову, мрачно глядя перед собой.

— И вы покажете этого сводника дьявола под личиной монаха, этого Симона Дамиана, вы покажете его… Один из вас сыграет его перед людьми?

— Конечно.

— Комедианты — сатанинское отродье, — сказал он взвешивающим голосом.

— Мы сделаем из этого Правдивую Игру, — сказал я, — насколько узнаем правду.

— Ну, — сказал он, — мы же посылаем воров ловить воров. Я расскажу тебе. Они пришли за мной. Они пришли найти деньги в моем доме, но меня там не было.

— А где ты был?

— В доме друзей в деревеньке Торп в трех часах ходьбы отсюда. Я переночевал у них. Братья по Духу собрались там издалека, они пришли из Честера. Мы были вместе в том доме, молясь и свидетельствуя. Многие могут это подтвердить. Я так и сказал шерифу лорда, но моей дочке это не помогло. Монах отрицал, что приходил за мной.

— Так что, когда он пришел, в доме была только твоя дочка?

— Да, только моя дочка.

— И он этого не знал.

— Откуда он мог это знать? Знал бы, так не пришел бы.

— Мы ходим по кругу, — сказал я, так как мое чувство логики было оскорблено.

— Слушай, комедиант, или посланец дьявола, или кто ты там есть. Они уже много лет искали схватить меня, потому что я обличаю монахов и их ордена, а особливо бенедиктинцев, самых ленивых и распутных из всех. Сей Симон Дамиан — посланец Ада, он прислуживает лорду и помогает ему жить в роскоши нашими трудами, нашим добром. Мы голодаем, а они пируют, мы стонем, а они пляшут. И приидет им черед стонать, когда настанет день…

— И что же с ними будет? — спросил я.

— Они будут гореть, — сказал он, глядя перед собой, будто уже видел это пламя. — Они будут ввергнуты в пламя вместе со своими собаками и конями и своими блуднями, которых они кормят и наряжают на наши труды. И еще евреи будут ввергнуты в пламя, которые распяли Христа и множат деньги. А также суконщики и торговцы сукнами будут ввергнуты в пламя, которые договариваются промеж себя о ценах и отнимают у

ткачей плоды их трудов. Зачем бы ему приходить только за девушкой, да еще немощной? Какая ему от того польза?

— Немощной?

— Меня работа ждет, — сказал он горько и показал на станок.

— Когда монах нашел деньги, он все еще верил, что ты где-то в доме или поблизости?

— Если бы не верил, так не нашел бы их. — И вновь я почувствовал, как мой разум разбивается о скалу логики ткача. Все по кругу возвращалось к нему. Он был посвящен во все планы: монаха — обвинить его в убийстве, Бога — покарать богачей.

— Тогда было уже слишком поздно, — сказал он. — Кого-то они должны были схватить, раз деньги нашлись.

— Твоя дочь тоже Дитя Духа?

— Она не может свидетельствовать, — сказал он. — Иногда она ходила со мной на встречи братьев.

Я повернулся, чтобы уйти.

— Как ее имя?

— Ее имя Джейн. — Его лицо смягчилось, когда он его произнес. — И это было имя моей матери. Моя жена и один сын померли от чумы, а мой

старший сын помер два года спустя в голодный год, когда мы все чуть не померли. Здесь помирали больше от нужды, чем от мора. — Его голос убыстрился, веки широко раскрылись, пока он смотрел на меня. — Мое проклятие тому, кто забрал ее и оставил меня одного, — сказал он. — Да умрет он в крови. Мое проклятие тем, кто пирует и грабит Божьих людей, и платит нам по своей цене, и не позволяет нам самим продавать нашу ткань. Грядет Расплата, и время уже близко.

У двери я оглянулся. Он стоял все там же. Наши глаза встретились, и мне показалось, что в его блестят слезы. Но голос остался прежним — сильным и хрипловатым от частых упражнений.

— Она не может свидетельствовать, — сказал он. — Но я ее знаю. Она и мыши не убьет, не раздавит ужалившую ее осу, так что уж говорить о ребенке.

Глава одиннадцатая

Я шел назад по снегу и думал о ткаче и его словах. Поднявшийся ветер сгребал снег в сугробы. Я намеревался вернуться в гостиницу и потому пошел через рынок. Звонили колокола, и бродячие торговцы уже убирали свои прилавки. Еще не стемнело, но свет угасал, и воздух похолодал. Я увидел Мартина у помоста человека, восхвалявшего свои целебные снадобья. И он так его заслушался, что заметил меня, только когда я встал рядом с ним.

— Мы могли бы кое-чему поучиться у этого малого, — сказал он. — Посмотри, как он говорит и движется и выдерживает паузы. Он заворожил людей, убеждая их, что они могут купить бессмертие за два пенса.

В его голосе звучало особое возбуждение — более, чем в самих словах.

— Раз уж мы встретились, — сказал он, — можешь пойти со мной.

— Пойти с тобой куда?

— Мы идем повидать ту женщину, — сказал он. — Мы идем в тюрьму, Никлас. Пошли, уже

пора. Зазвонили колокола.

И пока мы шли назад через рыночную площадь, он мне объяснил. Тюрьму охраняют, сменяясь, надзиратель и два тюремщика. С тем, чей черед наступил теперь, Мартин поговорил, и за шиллинг тот впустит одного человека, позволит ему войти в темницу и поговорить с женщиной, но только в своем присутствии. И никому ничего про это не скажет.

— На это последнее обещание мы можем положиться, — сказал Мартин. — Проговориться для него значит потерять место. И не только.

— Шиллинг? — сказал я. — Недельное жалованье тюремщика. Из общего кошелька?

— Да-да, шиллинг, — сказал он нетерпеливо, внезапно рассердившись. — Сейчас не время считать пенни. Что мне надо было сделать? Разыскать вас всех и обсудить расходы?

Он остановился на краю площади и обернулся ко мне.

— Разве мы не пришли к общему согласию? — сказал он. — Мы сидели кружком, и каждый мог сказать свое. Разве мы не согласились, не соединили наши сердца в общей гармонии показать смерть мальчика в Правдивой Игре?

Я кивнул, но он напрасно утверждал, будто

меж нами было разумное согласие. Бесспорно, мы согласились: будто вошли в каменный мешок и не нашли там двери, ведущей наружу.

— Шиллинг этот потрачен хорошо, — сказал он. — Мы выслушаем рассказ девушки о том, что произошло.

Стена тюрьмы со стороны улицы была глухой. В проулке за углом были ступеньки, ведущие к тяжелой двери. Над ней в камне был вырезан герб: лежащий леопард и три горлицы над ним по диагонали. Мы ударили в дверь железным молотком, постучали, и вскоре в зарешеченном оконце в двери возникла безобразная харя тюремщика. Увидев Мартина, он улыбнулся и открыл нам дверь.

Мы прошли по коридору и пересекли внутренний дворик с пустыми конюшнями по одну сторону и солнечными часами посередке. Потом опять коридоры и под конец лестница, ведущая вниз к подземным темницам, где держали узников. Из тьмы, когда мы проходили мимо, донесся голос и лязг цепей.

— Кого тут содержат? — спросил я тюремщика в ужасе от сырости и мрака этого места.

Он поднял фонарь и ухмыльнулся нам, открыв гнилые пеньки зубов.

— Гости лорда де Гиза, — сказал он. — Это его дом. Эти двое ушли с его земли без дозволения. Самое милое дело теперь, но сэр Ричард стоит за закон. Никому не спастись, коли он учинил ему вред. Эти двое попросили прибавки к плате, а когда по праву лорда им было отказано, они ушли с его земли работать на хозяина, который предложил плату повыше. Он послал вооруженную стражу вернуть их.

— А землевладелец, к которому они ушли? Тот, который положил им плату, какую они просили, он как?

Тюремщик остановился в конце коридора и сплюнул на каменную плиту.

— А что он мог поделать? — сказал он с презрением. — Старик без наследников, сто акров земли, управляющий, десяток дружинников… Его проучили — подожгли его лес, чтоб знал, как красть рабочие руки.

— И тебе это кажется справедливым?

Тюремщик снова сплюнул и поглядел на меня нехорошим взглядом. Дюжий детина со шрамами от старых ран на лице. Только мысль о шиллинге понуждала его обходиться с нами учтиво. Его-то он сейчас и потребовал, протягивая руку.

— Где женщина? — спросил Мартин.

— Она тут. — Тюремщик указал большим пальцем в конец коридора, где по краю каменных плит пола брезжил слабый свет. — В последней темнице. Приказали дать ей светильник… — Его пальцы сомкнулись на шиллинге. — Ну а теперь можешь поговорить с ней, — сказал он и ухмыльнулся. — Ты дорого заплатил за радость послушать свое кукареканье.

Он прошел вперед и отпер дверь тяжелым ключом со своего пояса.

— Ты, — сказал он мне, — ты останешься снаружи, здесь, со мной. Мне заплатил он, и слово я дал ему. Можешь, если хочешь, смотреть в дверь вот отсюда.

Он говорил так, будто обещал славное зрелище. На высоте головы в двери была заслонка. Мартин вошел внутрь, дверь за ним закрылась, а я смотрел сквозь приоткрытую заслонку. В скобу на стене был вставлен светильник с горящей свечой за стеклянным щитком, и он отбрасывал бледный свет. Темница была ниже уровня улицы, я слышал посвист ветра снаружи, а сквозь решетку высокого оконца влетали снежинки и медленно кружили, попадая в лучи светильника. Его огонек, хотя и укрытый щитком, колебался, и по стенам скользили тени. Мартин вошел обыч-

ным легким шагом.

— Я пришел как друг, — сказал он.

Дочка ткача зашевелилась у стены, я услышал позвякивание металла и увидел, что она прикована к стене за лодыжку, но цепь была длинной и позволяла ей ходить туда-сюда.

Я снова услышал голос Мартина, называющий его имя, а затем женщина издала звук, в котором не было ничего человеческого, и тут я понял (как, конечно, и Мартин), почему, зажимая шиллинг в кулаке, тюремщик ухмыльнулся: ее язык был не способен округлять слова.

Я увидел, как Мартин вздрогнул и замер.

— Ты можешь слышать, что я говорю тебе? — сказал он. В его голосе звучала доброта, но не жалостливость.

Она повернулась к нему, подняла голову, свет упал на ее плечи и на лицо и на темные космы ее волос. Глаза оставались в тени, но я увидел их блеск. Рот у нее был четко очерченным, но без грубоватости, а губы нежными даже в этой убогости, даже когда она снова издала странно-пронзительные звуки, которые только и могло рождать ее горло и которые сама она не слышала.

Я услышал, как захихикал тюремщик у моего плеча. И тут Мартин начал пантомиму, сначала

змеиным знаком обрисовав тонзуру и брюхо, затем, загибая пальцы, обозначил деньги, затем сделал два быстрых шага, изгибаясь в движениях поисков и находки. Затем он принял позу вопроса: голова круто наклонена влево, правая рука у пояса, большой и указательный пальцы выставлены вперед. И все эти движения обезьянничала его горбатая тень на стене.

Ее ответные жесты были быстрыми — настолько, что я не всегда успевал их понять. Я увидел, как она покачала головой и сделала знак круга — не медленный, означающий вечность, но торопливый, повторяющийся, когда полукружия ладоней смыкаются сверху и снизу. Я не знал этого знака, и, возможно, комедианты им не пользовались. Затем она сделала несколько шажков от стены, и цепь зазвенела по каменным плитам пола. Она остановилась в ярде от него и резко ткнула в ладонь левой руки указательным пальцем правой, я счел это знаком, подтверждающим истинность сказанного.

Мартин сделал знак плотского соития, не краткого блуда, но указывающий также на нежное чувство — пальцы переплетены и подняты прямо. Теперь я подумал, что этим знаком пользуются только комедианты, так как она его не

знала и дала это понять, нахмурясь и помахав пальцами. Мартин повторил знак, но на этот раз еще и сложил губы в поцелуе. Она сделала яростный жест отрицания, словно боковой удар ладонью, и я увидел, как сверкнули ее глаза. Может, ее отец и сказал правду, что она не причинит вреда самым негожим Божьим тварям, но в ней таилось пламя гнева. Оно было в движении ее тела, в том, как она внезапно выставила ладони перед собой, будто отталкивая что-то нечистое, выражая свое отвращение к Монаху.

Теперь они двигались вместе, не сближаясь, но делая шаги и повороты гармонично, будто в танце, передразниваемые собственными тенями, под аккомпанемент звона цепи и нечеловеческих звуков, вырывавшихся у нее. Пока она поворачивалась в этом танце, мне удалось рассмотреть ее пояснее, и была она густобровой, темноглазой, стройного сложения и с прямой осанкой — даже в неубранности среди грязи этого места она выглядела пригожей. Но я уже потерял нить их беседы, ибо слишком мало был осведомлен в языке знаков, и под конец передо мной было только обещанное тюремщиком зрелище: наклоны головы, движения рук, покачивание тела, замирание и пляска теней в этом колеблющемся свете.

Не понял я и завершения, во всяком случае — тогда. Женщина простерла руки, держа их рядом и показывая ему раскрытые ладони. Он шагнул вперед, взял ее руки в свои и поглядел на их ладони. Вот так они стояли рядом одно краткое мгновение, а затем он выпустил ее руки, отвернулся и пошел к нам, но неуверенно, как человек, долго смотревший на яркий свет и плохо видящий, куда ступает.

И он не сказал мне ни слова ни там, ни на пути назад в гостиницу. Я поглядывал на его лицо, но оно ничего не выражало. Остальные, кроме Стивена, вернулись во двор гостиницы раньше нас. Теперь уже стемнело, и над низкой грядой облаков висел месяц. Нам нужно было поговорить о том, что мы узнали, и обсудить изменения в нашей Игре, а времени оставалось немного. Мартин удивил нас, нарушив порядок и заговорив первым.

— Она невинна, — сказал он. — На таком расстоянии при таком свете он не мог увидеть ее лица. — Его собственное лицо озарял свет, сияние решимости, совсем такой же, как тогда, когда он заступился за Брендана, столь же бессловесного. — Она опустила капюшон из-за ветра, — сказал он и быстрым жестом словно бы

натянул капюшон на лицо, но не так, как укрываются от холода, а словно боясь ослепнуть при виде какой-то красоты или чего-то невыносимо яркого для глаз. Я вспомнил жест нищего и понял, что Мартина поразила любовь к этой девушке и он все еще видит перед глазами ее лицо, весь ее облик. — Она говорит, что все время оставалась вдали от дороги.

— Говорит? — Я посмотрел на него, потом обвел взглядом остальных. — Эта девушка не способна ни говорить, ни слышать, — сказал я. — Мы ходили в тюрьму повидать ее. Ее отец сказал, что никаких денег у них не нашли. В ту ночь он не ночевал, был далеко от дома, и тому есть свидетели. — И я рассказал им про то, как побывал у Ткача, что он говорил и каким человеком кажется. — Он сказал, что они приходили за ним, не зная, что его нет дома. Он проповедует Конец Света, и у него среди простых людей есть последователи.

— Когда Монах поднял кошель, было уже поздно изменить их план. — Соломинка изобразил растерянность бенедиктинца, раскинув руки и растопырив пальцы. — О, жестокая Фортуна! — сказал он. — Так долго ждать удобного случая и затем обнаружить, что именно тогда Ткача не

оказалось на месте.

Прыгун рассмеялся на эту пантомиму, и миг спустя Соломинка тоже засмеялся, но затем опасливо оглянулся по сторонам.

— Но каким образом представился этот случай? — сказал он.

Шаг за шагом мы приближались к злу, и мы все знали это. Подталкивая и подбодряя друг друга, в этом сарае среди колеблющихся теней и очертаний масок, висящих костюмов, не наносящего ран оружия, под звон церковных колоколов над нами и шум во дворе снаружи, мы продвигались к познанию зла.

— Так, значит, — сказал Мартин, — найдя кошель, Монах должен был придумать причину, объяснить, почему он пошел к Ткачу и взял с собой слугу, а потому он сказал, будто видел ее там. Все это ложь. Ее там не было. — Он по очереди посмотрел на каждого из нас, и в его взгляде была мольба, он просил нас поверить в невинность девушки. — Ей дали светильник, — сказал он, словно про себя. — Быть может, кто-то…

— Мартин, ее повесят, что бы мы ни делали, — сказал Тобиас, и в голосе его была жалость, но не к девушке.

— Инея на мальчике не было, и он не замерз, —

сказала Маргарет. — Я отыскала Флинта, а он отыскал меня и был рад, вот так. Когда Флинт наткнулся на Томаса Уэллса, он застыл, был холодным, но инея на нем не было. Траву подернул, а мальчика — нет. Тогда, наткнувшись на мертвеца, Флинт об этом не подумал, но теперь вспомнил и уверен твердо.

— Добрые души, — сказал Тобиас, — раз деньги забрали только для того, чтобы тут же их отыскать, его убили не для того, чтобы ограбить.

— Монах и мальчик шли по одной дороге вместе в одно и то же время дня, — сказал Прыгун своим высоким звонким голосом. — Быть может, Монах его расспрашивал. Томас Уэллс говорил правду человеку власть имущему. Он бы показал ему кошель, он бы гордился оказанным ему доверием…

— И Монах увидел способ, как заставить Ткача замолчать, — сказал Соломинка. — Это объяснит следы удушения. Ткач мог бы убить таким образом.

— Девушка показала мне свои руки, — сказал Мартин. — Они огрубели от работы куда больше, чем мои. — Он раскрыл ладони и посмотрел на них. — Кисти у нее узкие, косточки мелкие, — сказал он.

Никто не знал, как ответить уместнее, такое ослепленное выражение было на его лице. И, быть может, мы обрадовались, что больше не надо думать, во всяком случае — пока, о картине, которую создали вместе: пустынная дорога, ощущение надвигающейся ночи, ласковые расспросы Монаха, готовность мальчика отвечать на них.

Прыгун и Соломинка с утра вместе отправились в замок, кувыркались и пели у ворот и в первом дворе. Они болтали с прачками и воинами в караульной внутри ворот.

— Никого смерть мальчика там не заботит, — сказал Соломинка. — Они про нее слышали, но у них там совсем другая жизнь. Разговоры только о турнире, который начинается завтра, да о танцах в День Рождества.

— Сэр Ричард и его супруга откроют танцы, как только вернутся после мессы, — сказал Прыгун. — Только об этом и разговоры, да о хвори молодого господина — он единственный сын, и имя ему Уильям. Они говорят, что он красавец и доблестный рыцарь и сладко играет на виоле.

— А что за хворь?

— Они не знают. Одни говорят, что он чахнет от любви. Его уже несколько дней никто не видел, он не покидает своего покоя. Не выходил, чтобы по-

упражнять своего коня для поединков на копьях, и не осматривал свои доспехи, а это странно; все говорят, от турниров он без ума и прославился своими победами на них. И тем более странно, раз туда съехались рыцари из разных мест и есть случай заслужить славу.

— Ну, прихоти знати холопам интереснее убийства ребенка, — сказал Мартин, и впервые после нашего возвращения ослепление любовью исчезло с его лица, сменилось горечью. — Да, — сказал он, — значит, он не покидает своего покоя, потому что так ему взбрело. То, что ее повесят по оговору лжеца-монаха, не идет ни в какое сравнение с хворью этого лорда. — Внезапно он застонал, и его ладони поднялись, пряча лицо. — Ее повесят, — сказал он.

И тут, когда его страдания озаботили нас всех, в сарай вошел Стивен и выругался, зацепившись башмаком за дверь. Он был пьян, на ногах держался нетвердо, но его голос, когда он приветствовал нас, был достаточно ясным. Он долгое время бродил по городу, а затем зашел в харчевню неподалеку от церкви, вроде бы без всякой на то причины, кроме как выпить. Такая у него была привычка, когда что-то его тревожило или пугало. Признаться в своих страхах он полагал

трусостью, и ему не хватало выдержки Прыгуна или Соломинки или даже Тобиаса, находивших облегчение в шутках.

В харчевне он увидел и узнал могильщика, который выкопал могилу Брендану, а раньше — Томасу Уэллсу. И заговорил с ним, и они напились вместе — больше на деньги Стивена, — и разговорились по душам.

— За могилу мальчика уплатили, — сказал он теперь, садясь, вытягивая перед собой длинные ноги и приваливаясь спиной к стенке. — Могильщик говорит, что управляющий Лорда уплатил попу. Он говорит, что видел их вместе. Церковная дверь была чуть приоткрыта, а они стояли внутри возле купели. Он видел, как они разговаривали, видел, как деньги перешли из рук в руки. Потом поп дал ему два пенса за работу. Могилу он выкопал, но не видел, как мальчика предали земле.

— Как так? — Глаза у Прыгуна стали круглыми, будто у совы. — Колдовство? — сказал он.

— Было это накануне дня, когда мы похоронили Брендана. — Стивен помолчал, свет поблескивал на его черной щетине. — В день, когда мы пришли в это проклятое место, — сказал он. — Его привезли и закопали вечером того же дня. Когда могильщик пришел на следующее утро докопать

могилу для Брендана, могила мальчика была уже засыпана. Он не знает, кто ее засыпал и был ли мальчик погребен в полотне либо в рогоже. Ему никто ничего не сказал, а он побоялся спросить из-за того, что видел там управляющего Лорда.

— Они боятся гнева их лорда, и на то есть причина, — сказал я, вспомнив двух кабальных, прикованных цепями в темнице. Меня удивила и ужаснула мысль, что, пока мы добирались сюда — то ли когда двигались процессией по улицам, то ли позднее, представляя Игру об Адаме, — кто-то под покровом мрака опускал мальчика в могилу, засыпал его, а мы все это время ничего про то не знали. И такая спешка: тело Томаса Уэллса пребывало на земле, а не под ней, менее двух суток. Кто видел тело мальчика? Убийца, Флинт, управляющий Лорда. Но, конечно же, и его мать видела…

— Он сказал мне кое-что еще. — Стивен поводил языком внутри рта, как в привычке у пьяных. — За прошлый год из этого города и окрестностей пропало четыре мальчика. — Он помолчал, посмотрел перед собой и снова медленно задвигал языком во рту. — Четыре известны и названы, — сказал он, нагнулся вперед и сделал жест оратора, утверждающего истину: протянул руку перед

собой и резко провел ею слева направо поперек себя. — А раньше ничего, — сказал он.

Между нами воцарилось краткое молчание. Как тогда, когда Мартин в первый раз предложил сделать Игру из убийства, на нас словно опустилось безмолвие, в котором легкие звуки слышались громче: шорохи мелких тварей в соломе, дыхание пса, уснувшего поперек ног Тобиаса. Затем Прыгун наклонился вперед в луч света.

— Пропали? — сказал он. — Как так пропали?

— Исчезли, — сказал Стивен, его речь утратила четкость, к опьянению добавилась усталость. Он поднял ладони в жесте призыва, но изобразил его плохо, неуклюже.

— Про них говорил нищий, — сказал я. — Мы сочли это блужданиями его ума.

— Одного нашли, — сказал Мартин. — Одного убили и забрали его кошель. Времени мало. Мы должны придумать, как представить это, как показать, что она невинна.

Он не хотел, чтобы нас уводили в сторону, он хотел, чтобы мы думали только об одном мальчике, одной Игре, он хотел, чтобы мы помогли ему спасти девушку. И сила его желания воздействовала на нас, как и извращенность желания, которое он испытывал к ней, которое овладело

им, будто недуг.

И потому мы заговорили о том, как можно будет это сделать. Времени оставалось мало и для разговоров, и для упражнений. Было решено начать, как и раньше, до того места, когда женщина, которую по-прежнему изображал Соломинка, сменит свою маску на демонскую. И тут, когда вина женщины кажется уже несомненной, вмешается Истина, остановит происходящее и будет расспрашивать играющих, а они будут отвечать, как придет на ум, но с тем, чтобы их ответы указывали на бенедиктинца. После чего, все еще в присутствии Истины, Мартин как Монах и Прыгун как Томас Уэллс покажут в пантомиме, что произошло на самом деле. Я и Тобиас будем исполнять прежние роли. Таким образом, для роли Истины оставался только Стивен, и у некоторых из нас родились сомнения, хотя вовсе не потому, что он был пьян. Как я понял, он часто играл свои роли пьяным: Бога-Отца, Персидского Царя, Папу — его величавый вид не терпел никакого ущерба и даже становился величавее. И он сохранял в памяти свои слова. Но вот его ум полагали недостаточно быстрым, был ли он пьян или трезв, и возникли опасения, что он запутается в своих речах. Однако он громогласно утверждал,

что это ему по силам, а другого выбора не было, ибо Тобиасу недоставало нужной осанки.

— Сделаем что сможем, — сказал Мартин. — Завтра мы будем играть лучше, учась на своих…

— Завтра нас здесь не будет. — Голос Стивена в тесноте сарая прозвучал особенно громко. — Завтра в это время мы будем уже далеко на пути в Дарем.

— Слишком опасно, — сказал Тобиас. — Духовник Лорда, управляющий Лорда… если его убила не девушка, тот, кто убил, где-то рядом. И у меня такое чувство, что он под покровительством… — Он поглядел прямо на Мартина, и вновь в его взгляде было что-то похожее на жалость. — Мы ведь не намеревались спасать девушку, ты один забрал это в голову.

— Да, ты один, Мартин. — Как всегда, Соломинка поддался нашему общему чувству. — Ты всегда забываешь о нас, когда чего-то хочешь, — сказал он. — Тут нам грозит опасность. Ножом по сухожилию — вжик! — и с нами покончено. Я знаю, так произошло, когда один лорд позавидовал комедиантам другого.

— Мы не можем спасти девушку, — сказал я. — Нам это не по силам. Но судья, который приехал в город, может, он намерен проверить это дело.

— С какой стати? — От ярости, что ему противоречат, вся краска исчезла с лица Мартина. — Какое ему дело до простых людей?

— Тем не менее больше ей уповать не на что.

Прыгун, миротворец, заговорил следующим, и говорил он за нас всех.

— Мы хотим покинуть этот город, — сказал он Мартину мягко. — Мы ведь не собирались сюда сворачивать и свернули только ради Брендана, а потом остались без денег. После нынешнего вечера денег у нас будет много, куда больше, чем мы когда-нибудь собирали за единый раз. Нам достаточно, Мартин. Мы боимся. Каждая нить затягивает нас все глубже в паутину дьявола. Мы боимся, — повторил он. — И я бы убрался отсюда сразу после представления, если бы не темнота и снег.

— Да, тогда бы нам не пришлось еще раз платить жопомордому хозяину за сарай, — сказал Стивен.

Так в конце концов мы и порешили, проголосовав все, кроме Мартина, за то, чтобы покинуть город сразу после представления; светя факелами, добраться до леса, и под его покровом как-то пережить до рассвета. Мартину тоже пришлось согласиться, хотя лицо его было горестным. А

взял бы он свое согласие назад или нет, этого нам так и не пришлось узнать.

Глава двенадцатая

Мы снова решили представлять во дворе, потому что все нужное уже было там, и это сберегало время. Стивен пошел к воротам возвещать Правдивую Игру о Томасе Уэллсе, которая скоро начнется. И мы начали готовиться к ней.

На этот раз мы расставили столбы для занавеса пошире, чтобы для переодеваний места было побольше, и расположили его не в углу, а посередке, с факелами по обе стороны. Выходить из-за него мы решили справа и слева, так чтобы зрители не замечали нового участника, пока он не выйдет на свет. Мартин разметил площадку для Игры колышками и веревками, чтобы никто из зрителей не потеснил нас.

Все это придумал и устроил Мартин. И он подготавливал все нужное для Игры со страстью и увлечением, каких я еще у него не видел. Казалось, он ободрился после своего поражения при голосовании, и в его бодрости, знай мы это, таилась смертельная опасность для всех нас. Что Игру и жизнь вне ее он ясно не различал, мы знали; что он все еще надеялся спасти девушку,

мы тоже знали, хотя и считали его надежду напрасной. Но никто из нас не знал, как далеко он зайдет, лишь бы спасти ее, не знал, что именно он намеревался говорить и делать в этот вечер, — даже те не знали, что странствовали с ним дольше других и знали крайности его натуры.

В этой новой Игре я опять был Добрым Советником. Как и раньше, я должен был дать наставления мальчику перед тем, как он отправился в дорогу, и я стоял наготове в сутане и в черной шляпе. Глядя в щелку, где смыкались сукна, я смотрел, как в ворота входят люди. Стивен все еще оповещал об Игре, а Маргарет собирала деньги, и слуга хозяина гостиницы стоял рядом, следя за каждым движением ее рук. Но и нам была польза от этого малого: он знал тех, у кого в гостинице было дело, и тех, кто только ссылался на дело, чтобы не платить за вход. Кроме того, он не впускал известных буянов и уже напившихся забулдыг, а Маргарет вряд ли с ними управилась бы.

Люди входили чинно. Но в воздухе ощущалось ожидание, причем не просто предвкушение Игры. Казалось, они сходятся на собрание, в котором каждый примет участие.

— Слишком что-то они тихие, — сказал Соло-

минка, уже в чепчике и подбитом платье матери мальчика.

Прыгун стоял рядом с ним в бурой куртке Томаса Уэллса.

— Они будто в церковь входят, — сказал он.

— Стивену пора бы подойти, — сказал я, — не то он не успеет переодеться для сцены в харчевне.

Нам всем было не по себе, хотя проявлялось это по-разному. Мартин вышел вперед произнести Пролог все еще в своей обычной одежде и без маски. Он сочинил новые слова, хотя и не сказал нам какие. Быть может, только теперь, когда они огласили двор, я полностью понял, на что мы решились.

Почтенные, обдумали мы снова
Свершение в лесу убийства злого.
Казалось ясным всем вам, что оно
Той женщиною было свершено…

Но передумывать было поздно, оставалось только продолжить Игру. Мы начали, как и раньше, с того, как мальчику доверили деньги и он ушел с ними. Однако на этот раз требовалось продлить мои наставления. Так указал Мартин.

— Теперь, когда на исход Игры брошено сомнение, — сказал он, — их любопытство разгорится

только пуще, если заставить их подождать.

А потому Тобиасу в маске демона, держащему палку с привязанным к ее концу надутым бычьим пузырем, пришлось теперь присоединиться к нам. Томас Уэллс будет слушать меня, кивать и показывать, что мои слова его убедили. Но тут ко мне сзади подкрадется демон, ударит меня пузырем, и я брошусь в погоню за демоном, а тем временем женщина завершит свою пантомиму наслаждений, и Томас Уэллс шагнет к ней, но тут его остановят новые мои увещевания. Движения и жесты оказались очень удачными и вызвали смех, что всегда приятно, ибо указывает на интерес зрителей, но и страшно, если смеются многие — тогда это море с буйными волнами. Комедианты плывут, качаясь на них вверх-вниз, и если теряют власть над ними, идут ко дну.

Смех звучал вблизи и вдали, будто к уху прижималась раковина. Я двигался перед людьми и пытался исполнять свою роль как мог лучше. Но в моих движениях я не был свободен и уверен — слишком мало времени оставалось для предварительных упражнений, и сочетать все в гармонии было непросто: слова увещеваний, которые я произносил, едва они приходили на ум, жест нежданного испуга при ударе пузырем,

покачивание, поворот, расслабленный знак кистями — готовность дать сдачи, неуклюжая погоня. И все это следовало проделывать медленно, чтобы дать время Соломинке для пантомимы наслаждений.

— Ты должен двигаться, будто со слабой повязкой на глазах, — сказал мне Мартин. — Ты видишь, но смутно. Тогда твои движения станут неуверенными, шарящими, а это тебя замедлит и даст Соломинке нужное время. А твоя неуклюжесть сделает демона словно бы более ловким.

И я попробовал делать так. Притворная подслеповатость словно отдаляла меня от зрителей, и меня это радовало: ведь я был без маски и открыт их взглядам. Сказать правду, особого притворства тут не было: мой взгляд хватал недалеко и кончался, где кончались наши двигающиеся перед нами тени, и не достигал лиц зрителей. Я повернулся от движущихся теней к дрожащему свету факелов на стене. Я почувствовал удары демона, я неуклюже кинулся в погоню, опомнился, нашел подходящие слова из Евангелия от Матфея:

— Томас Уэллс, иди прямой стезей, что ведет к спасению, не сворачивай с нее. Это голоса Сатаны соблазняют тебя сладкими словами, обещаниями наслаждений. О грешная душа, не сходи с узкого

пути…

Среди зрителей послышались голоса. Один, самый настойчивый, выкрикивал мне советы. Всегда находится такой, кому кажется великой шуткой давать Доброму Советнику непристойные советы.

— Вырви-ка у него палку, сэр поп, и загони ему в задницу, — вопил дурень, и одни захохотали, а другие зацыкали на него. Он отвлекал внимание от Игры, и это могло привести к беспорядкам, ведь люди уплатили за то, чтобы смотреть представление.

Томас Уэллс стоял молча и неподвижно на середине свободного пространства. Я собрался с духом и заговорил снова, взяв на этот раз тему из Иова: жизнь человека на земле всегда борения. Но тут вперед вышел Соломинка и начал изгибаться перед зрителями в своем танце наслаждений, а из-под солнечной маски Змия он издавал нечеловечьи звуки немой женщины, в которых поупражнялся с Мартином, и двор окутала такая тишина, что слышно было, как подошва башмака скрипнула по булыжнику. Все еще лицом к зрителям, Соломинка наклонил голову вопрошающе и поднял руки ладонями наружу, растопырив пальцы. Он постоял так

мгновений десять — для комедианта долгое время, чтобы хранить неподвижность. Затем из-за улыбающейся маски вновь донеслись те же звуки, и теперь они стали протяжными и стенающими, будто соединили в себе жалобы всех немых тварей мира. Потом женщина попятилась, и Томас Уэллс сделал несколько зачарованных шагов к ней, высоко поднимая колени на манер ходящих во сне, но сон теперь был печальный, а не похотливый. Я вышел вперед сделать жест скорбного бессилия, и ни единого голоса не раздалось среди зрителей.

Вот так мы продолжили до того мига, когда женщина, скорчившись за спинами Алчности и Благочестия, меняет маски и является перед зрителями в рогатой маске убийства и скрюченными пальцами делает знак Зверя. Зрители все еще шипели на нее, когда вперед вышел Стивен. Он выглядел очень внушительно, прохаживаясь между факелами в белом одеянии и золотой короне. Он сначала хотел надеть свою золотую маску, но мы сочли это неуместным, так как она принадлежала роли Бога-Отца. А потому он покрыл лицо тонким слоем серебряной краски. Никто из нас, кроме Маргарет, не знал, что Стивен, пока выкликал Игру, выпил еще эля, и

теперь ум его сильно помутился.

Признаки помутнения скоро стали явными. Ему полагалось расхаживать, приковывая к себе взгляды зрителей, пока женщина и Алчность выходили за пределы света, а Тобиас укрылся за занавесом, чтобы сменить маску и плащ Благочестия на капюшон Рода Человеческого и выйти готовым отвечать на вопросы. Но Стивен не оставил для этого достаточно времени, внезапно остановившись на середине и подняв свой посох, требуя внимания, так что Тобиасу пришлось стоять рядом со мной за занавесом, выжидая удобного случая, чтобы появиться перед зрителями. Однако память Стивена все еще хранила слова, и он начал без запинки:

Я Истина, как могут видеть все,

В поспешности явилась я к тебе,

По воле Бога, что в величии Своем…

Однако теперь возникла тягостная пауза. Не видя никого, к кому он мог бы обратить свои вопросы, Стивен сделал посохом неясный жест призыва.

— Где ж Род Человеческий? — сказал он, и вопрос этот оказался самым неудачным, прямо напрашивающимся на непристойные ответы.

Однако не послышалось ни единого, так велико теперь было внимание зрителей.

— Вопросы должен я задать ему, — сказал Стивен, все еще помахивая посохом.

Тобиас торопливо вышел вперед, его лицо по-прежнему скрывал капюшон.

— Мое имя — Род Человеческий, я сотворен из тела и души…

Левой рукой Стивен сделал ему знак приблизиться.

— Почтенный, пред тобою Истина, — сказал он. — Поведай нам теперь, где был убит мальчик и где найден? Говори без страха и утайки. Истина тебе защита и опора.

— Возле дороги, слышал я.

Наступила новая пауза. Стивен торжественно кивнул и поднял посох. Нам было ясно, что он потерял нить беседы, но, к счастью, пока еще не зрителям, которые приняли его молчание за величие. Тобиас помог ему:

— Между убийством и находкой мрак ночи миновал…

Стивен выпрямился во весь рост. Он вспомнил.

— Почтенный, не страшись, скажи нам, где Томас Уэллс лежал между убийством и находкой.

Теперь Род Человеческий выступил вперед

и обратился прямо к зрителям, одновременно сделав жест, который сопровождает сообщение очевидного: ладони подняты, будто проверяя, не закапал ли дождь, затем резко выдвинуты вперед от пояса.

— Так, добрые друзья, вопрос не труден. Он лежал у дороги.

Теперь в первый раз заговорил сам Томас Уэллс, и свои слова он тоже обратил к зрителям, произнося их, как мы решили между нами, собственным голосом и без жестов и риторики:

— Добрые люди, так быть не могло. Лежал я где-то в другом месте. Пролежи я у дороги всю ночь, меня покрыл бы иней, но его на мне не было. Мы знаем это от того, кто нашел меня.

Где-то в глубине двора раздались голоса, а затем мужчина крикнул:

— Здесь Джек Флинт. Он тихий человек и хочет, чтобы я говорил за него. Он хочет, чтобы я сказал, что это правда.

Возникший затем ропот затих быстро, и вновь среди зрителей воцарилось безмолвие. Мы тоже безмолвствовали, потому что Истина, задав эти вопросы, не знала, что говорить дальше. Затем, не найдя иного способа, Стивен вновь прибегнул к знакомым словам:

Для Истины ничто богатство или злато,

Король, вельможа или император…

Наша игра могла бы завершиться тут полным провалом, если бы не находчивость Мартина. И своей находчивостью он предал нас и вдохновил нас и поставил под угрозу смерти. Все еще в черном плаще и безобразной маске Алчности он шагнул вперед в свет. Очень коротко, словно просто выражая намерение перебить беседу, он поднял руку в знаке, который означал перемену темы.

Потом он обратился — к нам и ждущим зрителям — со словами:

Что делать Алчности на месте этом?

Погублен мальчик был напавшим сзади,

Но не наживы иль корысти ради.

А потому с тобой я, Алчность, расстаюсь…

С этими словами он расстегнул застежку плаща и сбросил его на булыжник. Обеими руками, медленно, он поднял маску со своего лица, опустил ее на высоту пояса, а затем отбросил жестом ме-

тателя колец. Все это захватило нас врасплох. Не только ничего подобного не было в упражнениях, мы даже ничего схожего не обсуждали. И теперь он дал нам лишь кратчайшее предупреждение. Я думаю, он намеревался ошеломить нас вместе со зрителями, развязать нам языки. И, как бы то ни было, его воздействие на нас оказалось именно таким. Теперь он сделал долгую паузу, показывая себя зрителям как обыкновенного человека. Затем обернулся к Стивену, наклоняясь к нему в позе почтения:

Кто мальчика принес сюда с рассветом?

О, Истина, от нас ты боле не таи

Причины, почему здесь пятого нашли.

Тишина во дворе и на галерее вверху стала поистине ужасной. Стивен не знал, что ответить, но, отупев от эля, а к тому же будучи тупым от природы, он не был особо ошеломлен такой неожиданностью. Он медленно повернул серебрящееся лицо справа налево.

— Истина не страшится никакого человека, — сказал он наконец. — Было четверо других, это так. Поведал мне это могильщик, чье имя Кристофер Хоббс.

И он погрузился в молчание.

Однако природа Прыгуна была совсем иной. Я вновь увидел, как его грудь быстро поднялась и опустилась, пока он справлялся с дыханием. Он поднял правую руку и согнул пальцы перед лицом, будто держал что-то.

— Я нес кошель с деньгами, — сказал он, сделав голос высоким, детским. — Вот в чем разница, добрые люди, вот почему нашли пятого мальчика. Не из-за кошеля я был убит, но найден я был из-за него, ибо тот, кто меня убил, хотел, чтобы в том обвинили Ткача.

Вперед вышел Соломинка. Маску убийства он снял, но остался в льняном парике. Движениями рук и головы он изобразил немоту. Затем с жестом мольбы повернулся к Роду Человеческому, который, подчиняясь тому же порыву, откинул капюшон с лица. Мы все теперь остались без масок — ощущение наших ролей стало зыбким, меняющимся.

— Ткача не было дома, — сказал Тобиас. — И тогда они увели его дочку. — Он помолчал, а затем сказал торжественно: — Кто увел дочку, тот нашел деньги, кто нашел деньги, тот повстречал мальчика.

— Мы повстречались на дороге, — сказал Томас

Уэллс тем же писклявым голосом.

Я стоял в стороне вне света, ожидая, когда настанет время выйти с проповедью о правосудии Бога, который низвергает нечестивцев, и их нет более: vertit impios et поп sunt. Мое сердце тяжко колотилось. Мне мнилось, что на лицах остальных я вижу ликование, а также муку, будто они ждали освобождения от нее.

— Кто встретил мальчика, тот и совершил злодеяние, — сказал Род Человеческий.

— Когда меня схватили, куда я был отведен? — сказал Прыгун. — Кто знает, пусть скажет. Меня убили не там, не у дороги. Куда он увел меня на смерть?

Я увидел, как мысль о мученичестве Томаса Уэллса, которая была и познанием зла, еще больше омрачила лицо Прыгуна. Он помолчал, потом заговорил собственным голосом, забыв подражать ребенку:

— Почему меня схватили, если не из-за кошеля?

Мартин вышел на середину. На его лице было уже знакомое мне сияние. Он широко раскинул руки.

Куда Монах презренный поспешил?

Тот, чья рука…

Намеревался ли он ответить на этот вопрос сам или подождал бы ответа, узнать мне было не дано. Его прервал громкий крик кого-то из зрителей:

— Монах мертв!

Покосившись в сторону, я увидел, что справа от меня у стены стоит Маргарет. Она прошла между зрителями, а я и не заметил, так было мое внимание поглощено Игрой. Маргарет поманила меня, и тут же я услышал какой-то шум у ворот, увидел там непонятную толчею.

Маргарет стояла у веревки, ограждавшей свободное пространство с этой стороны. Обычное ее насупленное выражение исчезло без следа. Лицо у нее будто ожило от новости, которую она принесла. Ее рот открылся для слов, которые я еще не мог расслышать.

— Он мертв, Монах мертв, — сказала она, едва я приблизился к ней. — Они как раз его везут. Их остановила толпа за воротами.

Толчея в глубине двора все росла, оттуда доносились голоса, но в таком множестве, что я не разбирал слов. Маргарет уцепилась за мой локоть, чтобы нас не разъединили ближайшие к нам зрители, которые теперь двигались к во-

ротам.

— Я слышала, как один говорил, что его повесили, — сказала она мне на ухо.

Все еще держась друг за дружку, мы позволили толпе увлечь нас к воротам. Они были открыты, и снаружи на улице теснились люди, вышедшие со двора. Вот они-то и преграждали дорогу лошадям. Мы стояли в густой толпе, а всадники, стараясь совладать с лошадьми, осыпали проклятиями и стегали людей, чтобы проложить себе путь. Они были в ливреях, но не здешнего Лорда. Вначале за людьми между нами мне были видны только головы и плечи всадников, а также головы и шеи лошадей. Но я пробился вперед — люди впереди почему-то расступились, и в первый и последний раз я увидел Симона Дамиана, лежащего лицом вниз поперек спины мула. Я увидел его бледную макушку и бахрому вокруг тонзуры, я увидел, как его свисающие руки покачиваются в такт движениям мула всего футах в двух над землей, белые руки, будто восковые в свете факелов, в темных синяках на запястьях ниже рукавов его балахона — одет он был не в сутану бенедиктинца, а в белый балахон, в каких следуют в процессиях кающиеся.

Не знаю, как долго я стоял так и смотрел на

него. Мгновенные зрелища могут длиться вечно. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу его снова: бахрому волос, болтающиеся руки, белый балахон. По нашему исчислению времени, конечно, я совсем недолго видел все это, прежде чем всадники пробились сквозь толпу, мул зашагал вперед со своей ношей и скрылся из виду.

Маргарет оттеснили от меня, и она куда-то пропала. Я повернулся и быстро возвратился во двор. Однако мне не сразу удалось добраться до открытого места, так как меня теснили со всех сторон. Чувства переменились, а с ними и людские голоса. Теперь они кричали против комедиантов, виня их в том, что они не показали им Правдивой Игры, в том, что они принесли их городу беду и смерть. Они окружали меня со всех сторон, и мной овладел ужас, но вблизи ворот мы стояли так тесно, что, полагаю, они меня не разглядывали и не догадывались, кто я. Все глаза были устремлены на комедиантов, которые все еще стояли, окаменев, в огороженном пространстве между факелами. И несколько мгновений я, пока не опомнился, разделял этот гнев, эту ярость, которая забушевала, будто внезапная буря, пока мимо везли мертвого Монаха. Я был теперь не комедиантом, но частицей вопящей толпы, от

ужаса и ярости я вопил вместе с ней. Кто-то швырнул камень — я увидел, как он ударился о стену. Смелость наконец оставила беднягу Прыгуна, он упал на колени. Когда я увидел это, мой разум прояснился, и я понял, что спастись мы можем, только спася Игру.

Я начал пробираться вперед как мог быстрее. Я услышал — или мне почудилось, — как кто-то закричал:

— Это один из них, это поп.

Тут Мартин стряхнул с себя неподвижность, шагнул вперед к самой веревке, почти прикасаясь к людям, стоявшим в первом ряду, и поднял руки жестом того, кто сдается, и у меня екнуло сердце — с такой смелостью и находчивостью он подставил себя расправе, чтобы навлечь ее на себя или обезвредить.

Он закричал, слова сначала были неразличимы, но затем шум спал, и мы услышали его:

— Подождите! Монах мертв, но Игра — нет!

Вновь поднялась волна криков, людей он не умиротворил. Все еще держа руки поднятыми, Мартин перекричал крики:

— Мы это знали! Мы знали, что Смерть придет за ним в эту ночь!

Эта ложь и спасла нас. Ропот еще слышался,

но крики замерли. Он медленно опустил руки и вытянул их по бокам и простоял так несколько мгновений без движения. И эта неподвижность также требовала мужества, и она молила за нас сильнее любого жеста.

— Пощадите бедных скоморохов, — сказал он наконец. — Наше единственное желание — угодить вам. Дозвольте нам закончить нашу Игру о Томасе Уэллсе.

Прыгун кое-как поднялся на ноги, и комедианты теперь встали возле Мартина полукольцом, вторя его неподвижности. Я быстро прошел между зрителями. Меня никто не задержал, и я переступил веревку. Меня осенила мысль. Представление можно спасти своевременными словами. Я все еще был Добрым Советником, и я вплету эту весть в Игру через мою проповедь о правосудии Бога.

Так я и поступил, и страх был побежден обретением слов. Я двигался взад-вперед между комедиантами и зрителями, говоря медлительно и с торжественными жестами:

— Теперь Монах призван, как будем и мы в свой черед так или иначе, дабы держать ответ перед Судией, недоступным обману. Красивые слова ему теперь не помогут. Это ведь не просто-

душный мальчик, заслушавшийся ими в сумраке зимнего дня. Перед престолом Судии не сумрак, но царствие света…

Я услышал, как тишина воцаряется среди зрителей, и понял, что внес свою лепту в спасение Игры, хотя уже более не знал, к чему мы придем. Я продолжал расхаживать и говорить, чтобы у остальных достало времени собраться с мыслями и возобновить Игру.

— Слишком поздно теперь для Симона Дамиана — во веки веков поздно — вознести молитву, которую Бог вложил в уста Валаама: «Да умрет душа моя смертию праведников». Слишком поздно, во веки веков поздно.

Комедианты все еще стояли тесным полукольцом, храня неподвижность. Страх перед людьми вырвал их из ролей, у них хватало сил только на неподвижность. Но неподвижность эту необходимо было нарушить.

— Монах покрыл позором свой сан, — сказал я, — и Бог покарал его за это. Что скажет Род Человеческий?

Тобиас заговорил, хотя все еще не шевельнувшись.

— Всякая земная власть от Бога, — сказал он.

— Истинное слово, и Истина объявляет его

таковым, — сказал Стивен и обернул серебряное лицо к зрителям.

Соломинка первым нарушил полукружие, в которое они сплотились, чтобы вытерпеть избиение, казавшееся неизбежным. Он сделал шаг в сторону и сказал свои слова прямо мне:

Бог временную власть дает
Не для того, чтоб угнетать народ…

Я думал, что Прыгун дольше всех не придет в себя — позабыв про ту храбрость трусливых, которая помогает им быстро опомниться. Он отошел от других и произнес свои слова без малейшей дрожи в голосе:

Закон нарушит тот, кто власть
Употребит, свою насытив пасть…

Теперь Стивен припомнил слова из Интермедии, в которой ему довелось участвовать. Они не слишком соответствовали теме злоупотребления властью, зато очень соответствовали Стивену.

Пусть дарит Англии и Франции покой
Король преславный наш державною рукой…

Теперь Мартин, почувствовав, что мы пришли

в себя, поднял руку, приветствуя меня и одновременно поворачивая ее тыльной стороной ладони вперед в знаке вопроса.

— Привет тебе, Добрый Советник. Рад, что мы тебя встречаем. Ты видел покойника вблизи?

— Не дальше, чем тебя, брат. — Тут я понял, что, все время оставаясь тут между факелами, они не могли знать, какою смертью умер Монах. — Удавлен был веревкой он, — сказал я.

— Его конец подобен моему, — сказал Прыгун, вновь говоря детским голосом.

Род Человеческий стоял ближе к стене двора, и свет падал сзади на его жидкие волосы.

Себя Монах спровадил прямо в Ад,

Не по нему колокола звонят.

И тут вновь раздались крики. Теперь они были не угрожающими, но растерянными, и сначала было трудно уловить их смысл. Затем мы разобрали:

— Его руки были связаны! На его запястьях остались следы веревок!

Стивен сделал шаг вперед, все еще поднимая свой посох. Теперь он, казалось, протрезвел, быть может, вытерпев такой страх.

— Я Истина, как могут видеть все, — сказал он

самым низким своим басом. — Те, что связали ему руки, повесили его. Так получил он свое воздаяние. Кто кровь прольет человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо так сказано в Писании.

Но что-то тут не ладилось. Ко мне вернулось воспоминание о том, как Монах лежал поперек спины мула. О белом балахоне, какие надевают кающиеся. Или ведомые на казнь. Те, кто связал ему руки, надели на него этот балахон. Могли сделать это простые люди? Кто угодно мог связать его и повесить, но вот одеть так… Они облекли его в костюм, сделали из него комедианта, плясуна на веревке. Лишь те, кто действует в холодности, уверенные в своей власти, или те, что верят, будто Бог беседует с Богом внутри них.

Соломинка просеменил вперед в платье и парике.

— Повесив его, они доказали мою невиновность, — сказал он. — Правосудие дарит голос немым.

Мы могли бы кончить на этом. Слова его были завершающими и очень уместными. Мы были измучены. Я ощущал дрожь в коленях, а Соломинка, как он ни семенил, казалось, вот-вот упадет замертво. Но некий ангел погубления повел Мар-

тина дальше. Он все еще стоял лицом к зрителям и заговорил с ними:

— Правосудие пока еще не свершилось, добрые люди. Почему был Монах повешен? Когда мы узнаем почему, мы узнаем и кто. Все возвращается к находке мальчика убитым. Томас Уэллс был пятым. Тем, кого нашли. Если Монах увел с собой Томаса Уэллса, не он ли уводил всех остальных? Но покарали его только за того, кто был найден. Не потому ли, что он подстроил, чтобы его нашли?

Даже теперь мы не могли не следовать за ним, не могли покинуть его одного.

— Те, кто его повесил, разделались с ним не за убийство, а за то, что меня нашли, — сказал Прыгун. — Что меня убили, им было все равно. — В его голосе послышались слезы. Ропот жалости пронесся по толпе зрителей, и некоторые крикнули, чтобы он утешился: он же теперь упокоился на лоне Авраамовом.

— Бедная душа, они не мотели, чтобы тебя нашли, — сказал Тобиас, и в голосе его тоже слышалась дрожь слез. Он сделал знак вопроса: — Кто может сказать нам почему?

— Потому что на моем теле остались следы, — сказал Прыгун. Он говорил так, будто кто-то

подсказывал ему слова. И на его белом лице вновь появилось отражение муки, которую вытерпел Томас Уэллс.

— Если на твоем, так, значит, и на всех остальных. — Соломинка поднял правую руку в движении подсчитывания. — Раз, два, три, четыре, пять…

Стивен тоже пролил слезы, следы их оставили борозды на его щеках. Он взмахнул посохом.

— Видела ли мать тело своего сына? — сказал он.

— Нет, не видела! — закричала женщина в толпе. — Она говорила мне, что ее к нему не допустили.

— Кто видел, как мальчика похоронили? — Голос Мартина загремел над всем двором. Задавая вопрос, он посмотрел на нас, и мы ответили ему нестройным хором:

— Управляющий Лорда.

И вновь загремел его голос, требуя ответа:

— Кому служил Монах?

И опять в один голос, будто принуждаемые, мы ему ответили:

— Он был духовником Лорда, он служил благородному Лорду.

Отвечая, мы сошлись в тесную кучку, подчи-

няясь какой-то потребности слиться в единое существо с одним телом и одним голосом. Мы стояли лицом ко двору, спиной к гостинице. Мартин стоял в нескольких шагах впереди нас, повернувшись так, чтобы видеть и нас, и зрителей одновременно. Он как будто хотел задать еще один вопрос, но не думаю, что нам. Его лицо застыло в бездумной решимости, глаза были устремлены в одну точку. Таким он был, когда ушел от немой девушки. И таким был ее отец, когда пророчил адское пламя грешникам…

Внезапно на наших глазах его лицо изменилось, обострилось в тревоге. Я услышал испуганные голоса зрителей, топот и звон оружия стражников. Когда я обернулся, они уже перешагнули веревки, мы были окружены. Прошли они не через ворота, а через гостиницу. Некоторые уже гнали людей вон со двора.

— Я ношу духовный сан, — сказал я тому, кто, казалось, командовал ими, уповая таким образом избежать ареста светскими властями.

Он поглядел на мою грязную пропыленную сутану и чуть улыбнулся.

— Поп или комедиант, — сказал он, — ты пойдешь с остальными. — На груди его сюрко были вышиты леопард и горлицы де Гиза. — Женщину

мы оставим, она не комедиантка, — сказал он своим людям, и я увидел, как Маргарет отшвырнули в сторону.

— Куда вы нас ведете и по какому праву? — сказал Мартин.

— Я управляющий лорда, — сказал он, оглядывая нас, жалкие остатки нашей Игры — красное платье Соломинки, лицо Стивена в бороздках слез. Он больше не улыбался. — Вы будете гостями в замке, — сказал он. — Мой господин желает позабавиться.

Глава тринадцатая

Соломинке дали время переодеться, а Стивену — смыть серебро с лица. Коняга и повозка и тоскующий пес были оставлены в сарае. Нам было дозволено взять наши маски и костюмы, но ничего сверх. Их навьючили на мула, и на мулах же мы, комедианты, затрусили по дороге вверх к замку с охраной спереди и сзади мимо церковной калитки, где я был так напуган накануне, когда мы хоронили Брендана. Теперь в моем сердце вновь угнездился страх, а мы ехали и ехали в гору, свет наших факелов багрянил снег, и наши мулы слегка оскользались на крутизне.

Мост был опущен, и мы процокали по нему мимо караульной, а затем через первый двор с огромным навесом над колодцем, теперь безлюдный, где Прыгун и Соломинка кувыркались и пели в тот же самый день и старались выведать побольше про убийство Томаса Уэллса.

На дальней его стороне мы спешились, и пеших нас провели через еще один двор, потом вверх по каменным ступенькам лестницы, которая начиналась как прямая, а потом превращалась

в винтовую. И так мы наконец вошли в покой, предназначенный для нас, в квадратную комнату с каменным полом и с уложенной поверх соломой, на которой нам предстояло спать. Лорд отужинал и удалился почивать, как и его гости, сказали нам.

— Вам оказана милость, — сказал управляющий и холодно улыбнулся нам. — Ваша комната выходит на ристалище. И завтра вы посмотрите поединки. А пока лучше помолитесь на ночь Богу шутов с особой истовостью. — Улыбка умерла на его губах, и я понял: он не простит нам, что мы вовлекли его в нашу Игру. И еще я понял, что он исполнит всякое приказание своего господина и будет считать это добродетелью, в чем бы оно ни заключалось. — Вы будете позваны к лорду завтра, когда он пожелает, — сказал он. — Помолитесь, чтобы угодить ему. Среди вас есть один, кто может возглавить ваши молитвы. Он ведь одет подобающе.

С этими словами он оставил нас. Как ни снедала меня тревога, я почти сразу же погрузился в сон, столь велико было мое утомление. Думаю, то же произошло и с остальными. Но проснулся я до рассвета и лежал, глядя в темноту, перебирая в уме события последних дней, то, как мы все

глубже погружались в обстоятельства смерти мальчика. Мы свернули в этот город ради Брендана, то есть так мы думали, Я вспомнил, как Прыгун провел нас через гребень холма, показал нам широкую долину и город в ней. Вьющиеся струи древесного дыма, проблеск света на парапете замка… Город словно бы предлагал нам себя в час нашей нужды. Но нужду эту сотворила Смерть и отточила ее смрадом, исходившим от Брендана. Это Смерть привела нас сюда. Кто же тогда подсказывал нам слова в нашей Игре? Быть может, мы уже сослужили службу Смерти, и Игра больше сыграна не будет? Конечно, на это мы и надеялись. Пошептавшись перед тем, как уснуть, мы порешили представить Лорду и его гостям Игру Рождения и Гнев Ирода как наиболее приличествующие Рождеству и выразили надежду, что нам дадут достаточно времени приготовиться. Конечно, мы обманывали себя. Страх — патрон обманывающих себя, но он часто надевает личину. Я не знал, что нас ждет, и лежал там, а в щелях ставен начинал брезжить первый свет дня, и я знал, что происходило все это не нашей волей и не ради нас. И на память мне пришли последние слова, сказанные в нашей Игре о Томасе Уэллсе: «Он был духовником Лорда, он служил благород-

ному Лорду». Не такими словами кончают Игру…

Мы услышали рожок стража, возвещающий восход солнца, а вскоре слуга принес нам хлеба и овсяной каши, и мы были очень благодарны, ибо не ели ничего с прошлого полудня. Дверь нашей комнаты не заперли. За ней был короткий коридор, в одном конце заложенный, с нишей нужника в другом конце рядом с тяжелой, крепко запертой дверью. Так что выйти отсюда с нашей стороны было можно только с чьей-то помощью. А окно было высоко над полом и выходило на отвесную стену.

С первым светом мы услышали стук молотков и голоса во дворе внизу, где шли приготовления к сегодняшнему турниру. Эти звуки аккомпанировали нашему разговору — мы спозаранку начали договариваться об Играх, которые покажем перед лордом и его присными, распределяли роли, решали, сколько времени отвести на пение и танцы, очень важные в Рождественских представлениях. Никто из нас не упомянул Томаса Уэллса, хотя Игры, на которых мы порешили, повествовали о рождении одного ребенка и смерти многих. Не произнося его имени, никак не упоминая о нем, мы тщились отгонять мысли про грозящую нам опасность, пытались не думать о

том, что произошло, как нашу Игру насильственно прервали, а нас схватили.

Стивен делал вид, будто одобряет эту грубую спешку.

— Ясно, что молва о нас разнеслась далеко, — сказал он. — И они поспешили перехватить нас, пока мы не покинули город. — Он поглядел на нас и грузно кивнул. Глаза у него были налиты кровью, то ли с перепою, то ли из-за того, что он перечувствовал накануне вечером, когда слезы смешивались с серебряной краской на его щеках. — Они оказали нам честь, — сказал он.

— Да-да, — сказал Прыгун, радуясь и такой защите от страха. — Им было велено привезти нас сюда, а они — неотесанные воины и не церемонятся.

Тобиас покачал головой. Он все еще был Родом Человеческим и облек в слова то, что думали все.

— Странный способ оказывать почет, — сказал он. — Если бы мы держались Игры об Адаме, ты думаешь, нас бы так почтили?

Тут нас перебил вопль труб во дворе внизу, и мы столпились у окна и распахнули ставни и поглядели вниз. Все, кроме Мартина, который остался сидеть, прислонясь к стене и глядя прямо

перед собой, погруженный в свои мысли. Мимо нас под треск крыльев взлетели вспугнутые трубами белые горлицы и тесной стайкой закружили над двором, будто их размешивали в огромной миске.

Нам открылось великолепное зрелище. Пока мы толковали между собой, скамьи заполнились людьми, а ристалище из конца в конец украсилось яркими флажками. Рыцари верхом и в доспехах, но с открытыми забралами вереницей объезжали двор, покрытые богатыми попонами кони вскидывали головы на звуки труб и грызли удила, а всадники натягивали поводья и заставляли их гарцевать под перезвоны сбруи. Небо вверху было безоблачным и бледным и словно бы очень далеким. Снег во дворе был взбуравлен и истоптан, а кое-где загажен конским навозом, но он оставался белым и твердым, и гребешки его поблескивали на свету.

Проезжая мимо, рыцари приветственно поднимали руки, и дамы в павильоне бросали шарфы и рукава тем, кому благоволили. На фоне белизны красота этого зрелища слепила мне глаза — яркие наряды дам, трепещущие флажки, украшающие трибуну и ристалище, алые и серебряные, и голубые гербы на щитах и нагрудниках рыцарей,

блестящая сбруя, и поднятые копья, и гривастые шлемы.

Теперь мы, в свою очередь, были зрителями, а они — комедиантами, играющими Гордость и Доблесть. Я навидался турниров и во дворах, и в открытом поле, поединки и общие бои с сотней сражающихся иногда затупленным оружием, иногда нет. Представление, любимое зрителями. Они собирались полюбоваться им толпами к большой выгоде карманников и шлюх. Но теперь, быть может, потому что я сам стал участником представлений, мне, когда загремели трубы и закричали герольды, впервые пришло в голову, что это, пожалуй, был величайший пример Игр нашего времени. Мы, комедианты, выбрали роли, которые нам подходили. У знати же была всего одна роль, и они упорствовали в ней, хотя папы и короли осуждали ее за напрасное пролитие крови и тщеславие, а также за расход денег, которые с большей пользой могли быть употреблены на поддержание этих же пап и королей. Доминиканцы постоянно проповедовали против нее, обличая турниры как языческие обряды, но все их красноречие пропадало втуне. Сам святой Бернар обрушивал на них громы и молнии и объявил, что всякий, падший на турнире, отправится

прямо в Ад, но и его гласу никто не внял. Угрозы отлучения не производили никакого действия. Это была роль, которая привела их к богатству и власти, для нее они должны были наряжаться, украшать себя знаками и эмблемами, ибо к чему богатство и власть, если их не выставлять напоказ?

От этих размышлений меня отвлекло то, что на языке комедиантов называется Произнесением Пролога. Право устроителя турнира — объявить правила ведения поединков. И тот, кто теперь поднялся со своего кресла в павильоне, был гостеприимным хозяином и всех этих рыцарей, и нас, бедных комедиантов, сэр Ричард де Гиз. Нам в первый раз представился случай увидеть человека, по велению которого нас привезли сюда и чьей воли мы ожидали здесь. С нашей высоты нельзя было разглядеть его ясно. Несомненно, он казался высоким и внушительным в подбитой горностаем мантии из голубого бархата, свободно его облегавшей. Но лицо от нас заслоняли поля шляпы и перо, приколотое к ней. Длинное лицо, кажущееся узким из-за своей длины, очень бледное.

В почтительной тишине, воцарившейся, едва он встал, его голос ясно доносился до нас,

размеренный и неторопливый. Говорил он то, что слушающие уже знали, но говорил он с торжественным достоинством, соблюдая нужные паузы, как мог бы сказать Мартин. Сражаться разрешалось только затупленными копьями или с защитными коронками на остриях. Если в поединке рыцарь получал удар в голову или в грудь, он считался проигравшим. Если он был выбит из седла, его конь доставался победителю. Поднять упавшего рыцаря дозволялось лишь оруженосцу с его эмблемой.

Его голос раздавался и раздавался все так же звучно. Я вспомнил про его сына, лорда Уильяма, и мои глаза порыскали среди рыцарей на боевых конях и с оруженосцами сзади. Герба де Гизов среди них я не обнаружил. И вновь я, дивясь, гадал, какая любовь могла помешать молодому лорду выехать на ристалище. Но, может быть, он решил выступить позднее или завтра.

Мой взгляд остановился на рыцаре в шлеме редкостной формы. Он состоял из трех частей или ярусов, увенчанных гребнем из серебряной филиграни, а гребень завершало подобие желобчатой чаши, из которой поднимались красные и белые перья плюмажа. Мне почудилось что-то знакомое в оруженосце позади этого рыцаря,

хотя он, как и его господин, был повернут ко мне спиной. И тут я разглядел герб на значке копья и на голове коня — свернувшаяся змея с голубыми и серебряными полосами, и я узнал рыцаря, который остановился в гостинице, который ехал в метель вверх по склону под шелковым балдахином и помстился мне Зверем. И из того, что я уже знал об этом молодом рыцаре, мне стало понятно, почему он заплатил своему оружейнику немалые деньги, чтобы он сковал ему шлем, какого ни у кого другого нет.

Сэр Ричард завершил свою речь, сел и подал знак герольдам. Вновь загремели трубы, и вновь в небо взмыли горлицы и закружили над нами. Были громко объявлены имена и происхождение первых сражающихся и подробно объяснены девизы в их гербах, приобретенные через брак эмблемы, значки, указывающие на старшинство сыновей, успехи в битвах и на турнирах. Все это заняло много времени и показалось мне очень скучным. Как, видимо, и Соломинке. Вопреки своим страхам, а быть может, спасаясь от них, — он принялся передразнивать герольдов, раскрыл пошире свои заячьи глаза, не скупился на всякие жесты и сыпал преувеличенными учтивостями.

— Лорды и дамы, перед вами доблестный Пры-

гун, — сказал он. — Не владеет он ни единым акром земли, не победил ни в единой битве, кроме как с голодухой, хотя победа эта не окончательная. Но, бьюсь об заклад, подпрыгнет он выше любого из вас и будет быстрее вертеться на каблуках.

Тобиас, как было у него в привычке, взглянул на это более рассудительно и деловито.

— Ты же видишь, что эти бойцы носят и эмблемы своих оружейников, — сказал он. — За это им хорошо платят. Кольчужники и мастера по доспехам таким образом обеспечивают себе много заказчиков.

Так они перебивали герольдов и вконец рассердили Стивена, который слушал со всем вниманием, время от времени восклицая в восхищении и удивлении.

— Ш-ш-ш! — сказал он. — Это же второй сын сэра Генри Ботрала. Его отец породнился через брак с родом Саттанов. Видите, он добавил герб Саттанов к своему.

Рыцари тем временем гарцевали на своих боевых конях, поворачивали туда-сюда свои железные маски и вытягивали свои облаченные в шелк ноги пониже кольчужных юбок, красуясь перед дамами.

Затем забрала были опущены, копья взяты наперевес, первые двое медленной рысью двинулись навстречу друг другу, и копья тяжело ударили в щиты. Оба покачнулись, но каждый усидел в седле, так что поединок завершился с равным успехом. Этот поединок, сердце Игры, занял меньше времени, чем потребовалось бы, чтобы прочесть три первых слова молитвы.

Так продолжалось все утро: вопли труб, крики, тяжелый топот копыт, чуть приглушенный снегом, громовый лязг, когда сталкивались двое всадников в полном вооружении. Я ждал, когда на ристалище выедет Рыцарь Балдахина с пересеченным шрамом лицом, Роджер Ярм, такое имя объявил герольд, указав, что он сражался в Святой Земле, а также в Нормандии. В первом поединке он показал себя хорошо, в последний момент изменив наклон своего копья так, что ударил противника в правое плечо поверх щита, опрокинув его через круп коня, причем левая его нога запуталась в стремени, так что оруженосец сразу поспешил ему на помощь. За несколько мгновений Роджер Ярм выиграл цену боевого коня, стоящего по меньшей мере пятьдесят ливров, и у него не было нужды выступать и дальше. Однако в желании славы или наживы днем он

снова выехал на ристалище и был поставлен против рыцаря старше него, ветерана Пуатье, который приехал на турнир из Дерби.

Они подъехали к барьеру для приветствия, и в своем затейливом шлеме сэр Роджер выглядел выше противника на добрых десять дюймов. Душа у меня вещая, о чем я уже упоминал. И едва они заняли свои места на ристалище, как у меня возникло предчувствие беды, и оно все росло.

Сигнал был подан, они пустили коней рысью и взяли копья наперевес. Как все, собственно, произошло, я не разглядел. Копье старшего рыцаря было отражено, но не полностью, острие скользнуло вверх по щиту противника и задралось к его голове. В последний миг с большой ловкостью сэр Роджер поднял щит, чтобы направить копье над собой. Будь на нем обычный шлем, это ему, наверное, удалось бы. Но острие копья, затупленное коронкой, видимо, зацепилось за филигрань гребня, вышибло стержни, закрепляющие забрало, и он получил скользящий удар ото лба к затылку и тяжело упал боком с коня на землю, где остался лежать без движения.

Первым до него добежал оруженосец. За ним еще несколько, и вместе они унесли его с ристалища. На снегу, где он упал, осталась кровь.

После еще одного поединка лорд встал и объявил конец первого дня турнира. Время шло к вечеру, и до сумерек было уже близко. Рыцари уехали с ристалища, оруженосцы поспешали за ними. Лорд пересек двор и вошел внутрь замка, следом за ним его челядь, а потом благородные гости. Выбежали слуги, чтобы снять золотые и красные ткани, украшавшие павильон. Свет дня смешался со снегом, и не осталось ничего, кроме голой ограды ристалища, барьеров, пустых скамеек и темнеющего пятна крови.

Глава четырнадцатая

Когда он прислал за нами, час был уже поздний. Нам опять принесли еду — кровяной пудинг, хлеб и немного жидкого пива. Зажгли свечи, и мы растянулись на соломе. Управляющий пришел за нами в сопровождении двух стражников. Повели нас не в большую залу, как мы ожидали, но по путанице коридоров, узких, тускло освещенных, в апартаменты по ту сторону залы. Я заглядывал в темные коридоры, ответвлявшиеся от нашего, и вдруг в глубине одного отворилась дверь, упала полоса света, и в свет этот вступила некая фигура. Это была женщина, монахиня под покрывалом, так что рассмотреть ее лицо было невозможно. Она несла тряпки или, может быть, полотенца, белые, переброшенные через рукава ее одеяния. Видел я ее всего несколько мгновений, тут же дверь затворилась, свет исчез, а она пошла дальше по своему коридору и скрылась в его тьме. Но в эти мгновения, пока дверь отворялась и затворялась, а свет появился и исчез и монахиня прошаркала в темноту, в воздухе разлился душный смрад, такой густой, что я чуть не задох-

нулся, запах не смерти, но болезни, отравленной плоти и гнилостной крови, тления еще живого тела. Это дыхание я знал, как должны его знать и страшиться все, кто пережил времена чумы. Когда дыхание это проникает в твои ноздри, ты узнаешь в нем смердение мира.

Он рвался за нами, будто обманутая тварь, и становился слабее, и замер. Мы вошли в дверь под аркой и оказались в покое по длине и ширине достаточном для представления, но зрителей в нем уместилось бы мало. Дверь задней каморки была открыта, и там на полу кучей лежали наши костюмы и маски.

В большом покое стояло кресло с высокой спинкой и мягкими подлокотниками, и больше в нем не было никакой мебели, ни единого предмета. Мы стояли в ожидании под взглядом управляющего, а двое стражников остались по сторонам двери, уперев древки алебард в пол. И вот теперь Мартин, который весь день безмолвствовал и смотрел перед собой тусклым взглядом, словно стряхнул с себя оцепенение. Взбодрила ли его мысль о представлении, я не знаю; представлять было для него соком жизни и, может быть, сулило принести облегчение от мук любви. А может быть, молчание лежало на нем слишком уж

тяжким гнетом, но какой бы ни была причина, теперь он поднял голову и поглядел управляющему прямо в глаза.

— Ты тот, кто распорядился похоронить мальчика, — сказал он. — Ты заплатил священнику. Скажи нам, друг, из-за чего такая спешка? — Он помолчал, все еще не отводя взгляда от лица управляющего.

Потом сказал голосом полным презрения: — Или ты даже о таком себя не спрашиваешь?

И снова при этих словах мы подчинились ему, даже теперь, когда страх охватывал нас все больше, мы последовали за ним назад в Игру. Воинственный Стивен поднял голову и посмотрел на управляющего. Соломинка испустил свой рыдающий смех.

Лицо управляющего обмякло от удивления, что человек под стражей, да к тому же комедиант, посмел заговорить с ним так.

— Непотребный бродяга, — сказал он. — Тебя плетьми гонят от прихода до прихода, и ты смеешь обращаться ко мне столь дерзко? Ты мне жизнью заплатишь за это.

Прыгун захлопал в ладоши и закукарекал от смеха.

— Это ты повесил Монаха? — сказал он.

— В чем было его преступление? — сказал Тобиас.

Мы вновь вернулись в Игру и принялись задавать ему вопросы, будто и он исполнял в ней свою роль, а потому был обязан отвечать. Теперь, пребывая на грани отчаяния, мы дали волю нашим языкам. До сих пор мы не позволяли угаснуть надежде, выискивая то, что было обычным. Комедиантов иногда призывают представлять в залах замков и богатых домов — в конце-то концов, для того нашу труппу и отправили в Дарем. За ужином, когда хозяева дома и их гости пребывают в благодушии, их часто развлекают комедианты и менестрели. Но когда мы вошли в пустой покой с единственным креслом, стоящим там, как престол Судии, наша скудная надежда выпотрошилась и угасла: долее мы не могли гнать мысли о том, в какой мы опасности.

Рука управляющего лежала на рукоятке кинжала, но мы знали, что он его не обнажит. По-своему он был беспомощен не менее нас. Как бы он поступил с нами, не знаю, но в этот миг дверь открылась, два стража вытянулись, грохнув древками алебард по каменному полу, и вошел лорд Ричард де Гиз.

Он сменил бархатную мантию на подбитый

ватой халат красного цвета, а на голове у него была шапочка из той же ткани с черной кисточкой сбоку. На левом запястье у него сидел сокол в колпачке.

— Поставь стражников за дверью, Генри, — сказал он. — Так, чтобы они услышали, если их кликнут. Потом вернись и встань за креслом.

Управляющий направился к двери исполнить приказание, а его господин в первый раз окинул нас взглядом.

— Так, значит, — сказал он, — вы комедианты, о которых я слышал.

Его глаза медленно скользили по нашим лицам. Они были бледно-голубыми, с тяжелыми веками, и взгляд их, пристальный и жесткий, выдерживать было трудно. На нем не было ни единой драгоценности, ни единого украшения. Шапочка плотно прилегала к вискам и придавала длинному тонкогубому лицу выражение безразличия и суровости.

— Что же, посмотрим, каково ваше искусство, — сказал он.

Когда он опустился в кресло и управляющий встал сзади, он махнул нам рукой.

— Ваш хлам должны были сложить в каморке, — сказал он. — Можете начинать.

Мартин отделился от нас и отвесил поклон.

— Милорд, нам оказана великая честь, и мы постараемся угодить тебе, — сказал он. — С твоего дозволения мы думаем показать тебе Игру о Рождении Господа Нашего, как подобает этим дням.

Длинное лицо осталось каменным. Наступило молчание, затем послышался голос, все такой же медлительный и размеренный:

— Я призвал вас сюда не для того, чтобы вы делали из моей веры потеху. Я желаю увидеть Игру о мертвом мальчике. Генри, как было имя мальчика?

— Томас Уэллс, милорд.

— Хорошо, именно так. Я желаю увидеть Игру о Томасе Уэллсе.

Ничего другого мы не ожидали, но у меня оборвалось сердце. Теперь Мартин снова удивил и вернул нам наше мужество. Он сделал итальянский поклон, каким комедианты пользуются для преувеличенных учтивостей интриганов и слуг-предателей, — туловище наклоняется низко-низко, правая рука движется слева направо пологой дугой.

— Как милорд изволит, — сказал он.

Один за другим мы повторили его поклон, но у меня он получился очень неуклюжим, ибо он

куда труднее, чем можно подумать, а я никогда в нем не упражнялся. Затем Мартин увел нас в каморку, где лежали наши Еещи, и мы оделись для наших ролей. Черного кошеля-убийцы мы не нашли, и пришлось обойтись кошелем поменьше, в котором Мартин хранил общие деньги. Времени для обсуждения у нас не было, и мы только поспешно согласились повторить все, как было до ухода Алчности, а тогда явится Вестник и расскажет о смерти Монаха, эту смерть мы представим как доказательство его вины и как символ Божьего правосудия, не допытываясь более, кто ее учинил, иными словами, кончим Игру так, как из благоразумия нам следовало бы кончить ее накануне. На это мы возложили нашу надежду, и была она очень слабой. О спасении девушки мы более не думали. Но никто из нас не знал, что Мартин поверил в невозможность спасти ее и потому более не заботился о собственном спасении.

Мы соблюдали наш уговор и представляли историю так, как решили, — представляли в мертвой тишине этой комнаты, где зрителями были только Лорд и его управляющий. Я думаю, никакие роли никогда не игрались прежде в подобной тишине перед подобными зрителями.

Мне до боли не хватало шума во дворе гостиницы и на рыночной площади, смеха и выкриков зрителей и прочих свидетельств того, какие чувства ими владеют. В пустой комнате наши шаги звучали глухо, мы двигались туда-сюда, будто в медленном танце едва умерших перед Владыкой Погибших Душ на призрачном троне с соколом на запястье и с прислужником за спиной, готовым тотчас исполнить любое его повеление. Даже наши голоса вначале казались нам потусторонними, будто исходили они прямо из наших трепещущих душ. Но едва Томас Уэллс отправился в путь, мы предались нашим ролям и начали играть для самих себя. Тайна смерти мальчика все еще держала нас в обаянии. Это было третье представление, и мы усовершенствовались в наших ролях, во всяком случае, в первой половине Игры до появления Истины, которую опять изображал Стивен. Покрасить лицо времени у него не было, а белая маска полагалась Благочестию, и потому ему пришлось надеть толстую маску, склеенную из спрессованной бумаги и посеребренную. Из-за этой ширмы голос его звучал чуть приглушенно, но достаточно звучно. И играл он хорошо, лучше, чем в прежних представлениях, которые я видел: двигался торжественно и с ве-

личавым достоинством, сочинял свои двустишия без запинки.

Вот Истина, и с ней конец сомненьям,
К тебе являюсь Бога повеленьем…

В Игре без написанных слов очень многое зависит от порывов и озарений. Быть может, Стивен смелостью своего представления толкнул Мартина на путь, избранный им в этот вечер, толкнул его предать нас и ввергнуть в смертный ужас. Прямо перед тем, как Алчности полагалось уйти, Истина обратилась к зрителям на манер всех Фигур, когда они оповещают о своих свойствах. Однако на этот раз зрителями были только эти двое наблюдателей. Ничуть не смутившись, Стивен произнес те же самые слова, которые пришли ему на ум, когда, пьяный и растерянный, он представлял Истину накануне. Но теперь он произнес их с необыкновенной силой и убедительностью, сопровождая знаком настояния — рука поднята, пальцы свободно согнуты, большой и указательный соприкасаются, мизинец вытянут.

Для Истины ничто богатство или злато,
Король, вельможа или император…

Было странно и даже трогательно слышать, как Истина произносит эти слова, потому что сам-то Стивен куда как почитал императоров, королей и вельмож, а неподвижный человек, к которому он обращался, был богатым и могущественным вельможей, владыкой над жизнями и землей. Стивен забыл себя, он был — сама Истина. И я, стоя совсем сбоку, в ожидании мгновения, когда должен буду выйти вперед с проповедью о правосудии Бога, почувствовал навертывающиеся на глаза слезы, вопреки страху, который кружил среди нас, как еще один участник Игры, ибо увидел, как этот пресмыкающийся перед сильными мира сего человек поднялся настолько выше себя самого и смело гремел из-за своей маски.

Однако изменил все снова Мартин. Истина задала свои вопросы, Род Человеческий и Томас Уэллс дали свои первые ответы. Скрытый плащами Благочестия и Алчности Соломинка надел маску убийства. Все еще в плаще и маске Алчности Мартин вышел на середину, чтобы произнести слова прощания. Он начал, как и прежде:

Что Алчность делает на месте сем?
Рукою подлой мальчик был убит…

Но вместо того, чтобы расстаться с Алчностью, сбросить плащ и снять маску, как накануне, остаться в своем настоящем виде, расспросить Истину и подвести Игру к завершению, которое могло бы оставить нам надежду на помилование, он вновь отвесил тот же вычурный поклон, едва не задев пола правой рукой. Затем попятился, все еще кланяясь фигуре в кресле, и, не сделав нам никакого знака, скрылся в задней комнате.

Этот уход Алчности застал нас настолько врасплох, что мы никак не могли сообразить, что делать дальше. Затем Род Человеческий опомнился и задал вопрос, который должен был задать Мартин:

Кто мальчика принес сюда с рассветом?

Причины, Истина, ты боле не таи,

Скажи нам, почему тут пятого нашли?

Стивен извлек урок из своих вчерашних ошибок, и ответ у него был уже готов.

— Когда Истина глаголет, человек да не возразит, — сказал он. — Его схватили и принесли сюда из-за кошеля.

— Тот, кто меня убил, хотел, чтобы обвинили

Ткача, — сказал Томас Уэллс своим писклявым голосом. — То был Монах.

Теперь Тобиасу надлежало уйти, быстро переодеться в короткий плащ и шляпу с перьями Вестника, а затем вернуться с известием, что Монах повешен. И он уже направился к каморке, но застыл на месте, потому что оттуда появился Мартин, все еще в красном плаще, но теперь еще и в поистине ужасной маске Гордости, тоже красной, исключая изгибающиеся линии рта и страшные морщины между бровями, которые красятся в черный цвет.

Он сделал знак Тобиасу поторопиться, затем прошел вперед между нами и раскинул руки на высоте плеч ладонями вверх, в жесте, которые делают Фигуры, когда представляются зрителям. Несколько мгновений он сохранял эту позу и молчал, повернув маску к сидящему Лорду и управляющему позади него. Он давал Тобиасу время переодеться. Никто из нас не шелохнулся. Я стоял рядом с Соломинкой и слышал испуганный шорох его дыхания в отверстии маски Убийства. Затем Мартин начал свое описание:

Гордыня я, как это видно всем.

Дерзнет ли кто винить меня в обмане?

Теперь вперед выбежал Вестник в шляпе с перьями.

— Почтенные, — сказал он. — Я пришел к вам с новостью. Монах мертв, его повесили.

Поспешно — ибо хоть к этому мы были готовы — мы попытались заполнить пустое пространство движениями и вопросами. Из-за такой поспешности часто двое заговаривали одновременно, а наши движения были торопливыми и неуклюжими, наши тела заслоняли друг друга от смотрящих. Нарушениями гармонии и игрою невпопад назвал бы это Мартин. Но мы теперь понятия не имели, куда ведет Игра, мы тонули в ней, нам приходилось выхватывать слова из воздуха, как утопающие ловят его ртом.

Гордыня медленно шествовала через все пространство, вытягивая шею и делая жесты королевского величия и торжествующего триумфатора, проходя между нами, будто наводящий ужас незнакомец. Соломинка сделал последнее усилие спасти нас и Игру, следуя тому, на чем мы согласились завершить представление. Он снял маску Убийства, и под ярким париком его лицо выглядело бледным и испуганным. Но он продолжал придерживаться своей роли, зная,

как знали мы все, что лишь как комедианты, низкое отребье, недостойное гнева Лорда, мы еще можем отделаться только плетьми. Вот почему Соломинка старался семенить и поводить плечами как мог лучше. И это ему удалось. Он не обращал внимания на Гордость, все еще расхаживавшую и жестикулировавшую у него за спиной. На середине, лицом к двум наблюдающим, он исполнил свою пантомиму немоты, указывая на себя ладонями, повернутыми внутрь, указывая на свою немощь, покачивая жалостливо головой. В эти мгновения он молил за нас всех. Потом он выпрямился, откинул голову и заговорил в рифму, чтобы закончить Игру:

Правосудностью мне мой язык возвращен,

Повешен Монах, ибо был уличен.

Пусть я в темнице, но легче мне стало,

Правосудность невинность мою показала.

Он, я думаю, собирался сделать поклон, и мы все поклонились бы, но Мартин не дал нам времени. Теперь он вышел вперед сквозь нас, шипя — но не по-змеиному, звук был более грубым, тем,

который рождается на крепко стиснутых зубах. Потом он повернулся к нам, подняв правую руку в жесте сдерживания. Спина его была повернута к наблюдающим.

— Конец создает Гордость, а не Правосудность, — сказал он. — Или вы думаете, что Гордость стерпит конец, сотворенный без нее, когда она старшая среди всех? — Говоря это, он под заслоном своего тела сделал нам знак мольбы.

Мы встали позади него полукругом, все еще послушные — хотя и пребывали в полном смятении — великому правилу комедиантов не заслонять того, кто говорит. Мы впали в полную растерянность, потому что он оглушил наши умы и отобрал наши роли, но мы все еще оставались в ловушке Игры, как и в ловушке этой угрюмой комнаты, потому что для нас настоящих не было иного места, кроме тени виселицы. Иллюзия в иллюзии, но рассудку вопреки мы цеплялись за нее. Пока Соломинка оставался немой женщиной, а Прыгун оставался Томасом Уэллсом, а я оставался Добрым Советником, нас нельзя было вытащить отсюда и повесить.

Гордыня теперь повернулась к наблюдающим, но так, что я сглотнул тошноту и почувствовал, как меня в этой ледяной комнате обжег пот. Он

поворачивался очень медленно, делая короткие шажки, понурив голову, будто какой-то чудовищный зверь, чей покой нарушили, и он наконец оборачивается, угрожая нарушителю. И вот она, угроза Лорду, и нанесла удар мне в сердце, дала ощутить, будто порыв к рвоте, его намерение.

Теперь он опять выпрямился лицом к ним. Вновь он начал вытягивание шеи и медленное оглядывание по сторонам. Он делал жесты пловца, разгребающего тину.

— Старшая из всех, — сказал он снова. — Она стоит здесь и сидит там.

Я стоял вровень с ним и видел его маску сбоку, видел судорогу его горла, когда он сделал паузу.

В эти мгновения факел в скобе позади меня вспыхнул ярче, и отблески огня заиграли на безобразных бровях и клюве маски — и на плечах его плаща.

Лорд чуть пошевелил рукой первое движение, которое я у него заметил, — и сокол переступил для равновесия на запястье кожаной перчатки.

— Меня называют многими именами, — сказал Мартин. — И Гордыня, и Надменность, и Вельможность, и Власть. Но что мне прозвища, если я владычествую над тем, что мое?

Он использовал не свой голос. Этот голос

выходил из злого рта маски, медлительный, размеренный, с призвуком металла — голос наблюдающего Лорда. Я посмотрел на остальных, которые стояли неподвижно, окостенев, лишенные своих ролей. Соломинка и Прыгун придвинулись друг к другу и держались за руки. Теперь Гордыня заговорила снова, и снова заимствованным голосом.

— Что мне до одного мертвого мальчика, или пяти, или пятнадцати, если мое имя и положение не пострадают! Гордость, вот кто держал суд, кто схоронил мальчика в ночной тьме, кто повесил предателя-монаха в рубахе кающегося…

Теперь это был не просто голос. Пока я переводил взгляд с маски Гордыни на лицо сидящего в кресле, моему потрясенному уму и горячечным глазам казалось, что они сближаются в сходстве — и вот в мерцающем свете факела осталось только одно лицо, лицо маски с ее презрительным ртом и выпученными глазами и торчащими бровями.

И от этого сходства ужас возрос. Мартин в своем безумии вздумал обличать судью, восседающего среди теней на престоле правосудия, важно расхаживать перед Лордом и подражать голосу Лорда, который зажал нас в кулаке. Само по

себе это смертельное оскорбление. Но тут было нечто большее, чем просто оскорбление. Если эта тройственная комбинация действительно существовала, то, опираясь на логику, найти можно было лишь одно-единственное объяснение: сэр Ричард де Гиз не хотел, чтобы кто-нибудь увидел тело Томаса Уэллса, потому что оно хранило следы чего-то, и Лорд это знал, он знал это потому, что именно в его руки Симон Дамиан доставил живого мальчика.

Как далеко было бы нам дозволено зайти, я не знаю. Я увидел, как Тобиас, который был создан сильнейшим из нас, теперь доказал это, обретя способность двигаться и шагнув вперед в Игру, к Мартину, с рукой, поднятой в знаке упрека, который подобен знаку рогоносца, но с той разницей, что руку держат так, чтобы торчащие пальцы указывали перед собой. Я думаю, даже теперь он попытался спасти нас от гибели, укорив Гордость за ее самонадеянную наглость, но прежде, чем он успел заговорить, дверь отворилась, и в покой торопливо вошла девица с непокрытой головой, в темном плаще поверх голубого вечернего платья.

Она сразу остановилась при виде нас, являвших, без сомнения, странное зрелище в этой

безмолвной комнате — Гордыня все еще делала плавательные движения, Тобиас неподвижно протягивал к ней руку, а мы, остальные, по-прежнему застыли тесной кучкой. Затем она подошла к креслу Лорда сбоку, он резко махнул нам рукой, и Игра остановилась.

— Прошу прощения, батюшка, что побеспокоила тебя, — сказала она. — Я не знала, где поместили комедиантов. Сэр Роджер Ярм, которого нынче ранили, совсем плох, бедная душа. До утра он не протянет, а капеллана, чтобы дать ему отпущение грехов, нигде не могут сыскать.

При ее появлении управляющий отошел в сторону, и Лорд повернулся к ней в кресле. Мы воспользовались этим, чтобы посмотреть на Мартина с укоризной. Соломинка жестом показал ему, чтобы он снял маску, но он не шевельнулся.

— Сожалею об этом, — сказал Лорд голосом не таким холодным, каким говорил с нами, — но не понимаю, зачем ты пришла сказать мне об этом теперь, когда я занят тут.

— Меня послала матушка, — сказала девица. — Она услышала от служанки, что среди скоморохов есть священник. Не тот ли, который одет так?

Теперь глаза отца и дочки обратились на меня.

Затем Лорд заговорил с управляющим, тот согнул палец и поманил меня. Я подошел и встал перед креслом, покинув пространство Игры. Теперь я был Никласом Барбером, беглым священником, обмирающим от страха смерти. Лорд поднял голову, чтобы взглянуть на меня, а сокол, почувствовав это движение, сделал изящный шажок, и такая в комнате стояла тишина, что я услышал царапанье когтей по коже перчатки.

Лорд поднял веки и остановил на мне взгляд — упорный и холодный, лишенный любопытства или хотя бы намека на вопрос. Я выдержал этот взгляд не более мига и посмотрел вниз.

— Ну, — сказал он, — одеяние на тебе такое. Это правда, что ты священник?

— Да, милорд, это правда, — сказал я.

— Он может пойти совершить таинство, — сказала девица. — А потом я прикажу отвести его назад к тебе. Это будет недолго. — Она поколебалась, затем сказала: — Рыцарь не может говорить.

Лорд коротко задумался, подняв руку без перчатки к уху и зажав мочку между большим пальцем и указательным. Затем он кивнул.

— Пожалуй, я уже видел достаточно, — сказал он и посмотрел на управляющего. — Один

стражник пойдет с ним. Ты и другой останетесь со мной. После нашего попика отведут в покой, где их держали прежде.

Следом за девицей с топочущим стражником позади я вышел из комнаты с превеликой радостью, и мы направились путем, который я почти не заметил от снедавшей меня тревоги, туда, куда они поместили умирающего рыцаря.

Он лежал в покое без окон на низкой умягченной подушками скамье, укрытый по подбородок белым покрывалом, с повязкой из белого полотна на голове, будто еще одним шлемом. Слева и справа горели свечи. Оруженосец стоял на коленях у него в ногах, он плакал.

У дверцы в дальней стене виднелся стол — доска на козлах, и на нем были белые тряпицы, кувшин с водой и почти плоская чаша с елеем. Возле стояла служанка, а госпожа дома сидела у одра. Она встала, когда я вошел, и отошла, не сказав ни слова, а оруженосец посторонился, освобождая мне место.

Повязка почти достигала бровей рыцаря, и его лицо было таким же белым, как полотно. Глаза, карие с длинными ресницами, были устремлены на что-то очень близкое или очень далекое. Рот был чуть приоткрыт, и дышал он с трудом. Я

спросил его, искренне ли он раскаивается в своих прегрешениях и готов ли исповедаться, но взгляд не изменился, и я понял, что удар копья лишил его способности слышать и говорить. Он показался мне очень юным, почти мальчиком. Кожа на лице была совсем гладкой, отчего шрам поперек щеки казался еще более странно неуместным. Незаметно подкрадется Смерть унести рыцаря в цвете его юности. И она была близко — его глаза уже созерцали Смерть.

Я не мог дать отпущения тому, кто не мог подать знака раскаяния или назвать свои грехи. Я взял чашу с елеем и благословил его и начал произносить слова для помазания больных и умирающих, касаясь освященным елеем его век и ушей и рта. Он никак не показал, что понимает происходящее, — он, кто лишь несколько часов назад гордо нарядился для турнира в цвета своего рода и надел свой шлем необыкновенной формы, маскируясь для своей роли, как делают комедианты. Теперь он покидал место Игры, лишенный всех ролей, кроме этой последней — умирания, — которая ожидает нас всех. Что было там, кроме того, что я давал ему из моего скудного запаса? Я произносил слова, которые он не мог слышать, я благословил угасающие чувства. Я уделял ему от

моего собственного раскаяния, от моей собственной надежды на Царствие Небесное.

Миг его смерти нельзя было уловить, ибо дыхание его стихло ранее, а глаза уже давно смотрели незряче. Где-то между одним мгновением и следующим без движения или звука, пока я держал перед ним мой Крест, его душа отлетела. Однако оруженосец понял сразу и шагнул вперед и опустился на колени, посторонив меня. А госпожа, увидев это, подошла с другой стороны. Служанка как будто не поняла, что он скончался, — повернувшись к столу, она смачивала тряпицу, чтобы стереть с его лица пот агонии. И в эти краткие мгновения никто не смотрел на меня. За дверью, через которую я вошел, по-прежнему ждал стражник. Но ведь была еще дверца.

В таком порыве самое трудное — это двигаться не торопясь. Три шага приблизили меня к дверце. Я встал к ней спиной и проверил ее. Она оказалась незапертой, она приоткрылась от моего прикосновения. Я долее не колебался, но попятился вон из комнаты, тихонько притворив дверцу за собой. В последней косой полосе света из комнаты, которую покидал, я успел увидеть сразу перед собой две ступени и коридор за ними, узкий, но прямой. На дверце был деревянный

засов, и я его задвинул. Света теперь не было, но я пошел вперед со всей быстротой, на какую был способен. У меня не было никакого плана, да я и не верил, что мне удастся спастись. Меня гнал страх, но для таких, как я, страх — могучий союзник, обостряющий ум и дарующий крылья ногам.

Фортуна мне способствовала и уже поспособствовала в том, как скончался рыцарь. Я добрался до конца коридора, так и не услышав никаких попыток позади взломать дверцу. Поворот, еще один коридор, который я прошел ощупью. Под моей ногой разверзлись ступеньки, я споткнулся и чуть не упал. Лестница оказалась короткой — всего шесть ступенек. Я вспомнил, что к Лорду нас вели вниз по двум маршам лестницы, а потому заключил, что, возможно, спускаюсь на первый этаж замка.

Так оно и оказалось. С этой лестницы я сошел на галерею залы, смутно освещенной свечами и тлеющими в очаге углями. Она была совсем безлюдной. Перед угасающим очагом спал охотничий пес, но он не поднял головы, когда я проходил над ним. На длинном столе еще стояла посуда, а высокое кресло Лорда осталось отодвинутым, как и лавки по обеим сторонам. Я услышал голоса

слуг на кухне, но никто не вышел в залу, пока я спускался с лестницы и шел через нее.

Наихудшим мгновением оказалось то, когда я вышел наружу, чего так жаждал: во дворе тотчас раздались голоса и задвигались факелы. Сначала я подумал, что за мной уже гонятся, и остановился в тени стены. Но тут я разглядел, что некоторые спешиваются и среди них дамы, и сообразил, что это прибыли запоздалые гости. Однако я опасался, что меня заметят и начнут расспрашивать, а потому начал тихонько отходить, держась близко к стене. Лунного света было достаточно, чтобы видеть дорогу. Я свернул в мощенный галькой проход, открытый небу, но между глухих стен. Я все еще не знал, каким образом выбраться из замка. О главных воротах нечего было и думать: стражу там, конечно, уже предупредили.

И вот теперь Фортуна одарила меня великой милостью и показала, что утверждение Теренция, будто она покровительствует смелым, верно не всегда. Проход уперся в высокую стену, но в ней оказалась калитка, и решетка была поднята. Я вышел на поле истоптанного снега. Прямо наискосок от меня была ограда ристалища и пустые скамьи: я оказался в наружном дворе для воинских упражнений.

Сколько бы ни продлилась моя жизнь, этот миг, я знаю, будет жив в моей памяти. Лунный свет серебрил гребешки снега и отбрасывал лиловатые тени между ними. Оставалось пересечь открытое пространство до столбов высокого павильона, воздвигнутого у самой внешней стены.

Я быстро перебежал двор. Как я уже упоминал, лазить я умею хорошо и с ранних лет был ловок и легок на ногу — это и склонило Мартина к решению принять меня в труппу. Мне не потребовалось много времени, чтобы взобраться на крышу павильона, а оттуда перебраться на парапет. Он находился над землей на высоте трижды моего роста, если не больше, но теперь я приобрел сноровку в кувырканиях и падениях, а ветер намел под стеной большой сугроб. Удар при падении сотряс мой становой хребет и выбил из меня дух, но все кости остались целы. Я выждал там, пока мое дыхание не восстановилось, а затем направил шаги туда, где слабо мерцали разбросанные огоньки города.

Глава пятнадцатая

Насколько было возможно, я держался деревьев, почти не выходя на дорогу из страха погони, — свет был достаточно ярок, чтобы углядеть человека, движущегося на фоне снега. Впрочем, погони за мной не послали. Быть может, решили, что я прячусь где-то в закоулках замка, или же сочли бесполезными поиски в темноте даже с собаками. Но какой бы ни была причина, я был благодарен ей — и за себя, и за остальных, рассудив, что, пока я на свободе, менее вероятно, что им причинят какой-нибудь вред.

Я промок от пояса и ниже, промерз до костей и был совсем измучен, когда добрался до гостиницы, еле-еле держась на ногах. Двор распростерся передо мной в полном безлюдии. Нигде ни звука, но в одном из верхних окон щель между ставнями пропускала полоску света. Это была комната в конце галереи, комната судьи. Дверь гостиницы была все еще открыта. Я поднялся по ступенькам и тихонько прошел по коридору к последней комнате. Из-под двери пробивался свет. Я постоял там, услышав сначала громкий стук моего сердца,

а затем голос внутри, который что-то монотонно говорил, прерывался, снова начинал. Я собрал все имевшееся у меня мужество и постучал костяшками пальцев в филенку.

Я услышал, как голос оборвался. Затем дверь отворилась. На пороге стоял мужчина средних лет, худой, с острыми чертами лица, одетый в черную мантию, какие носят судейские. Его глаза оглядели меня: мою обритую голову, мокрые обтрепанные полы моей сутаны.

— Чего тебе надо? — сказал он не слишком дружески. Позади него на середине комнаты стоял мужчина более осанистый.

— Я пришел поговорить с судьей, — сказал я.

— По какому делу?

— Об убитом мальчике, — сказал я. — Я священник… я один из комедиантов.

— Час поздний, — сказал он. — Лорд судья занят. До утра это не подождет?

— Впусти его.

Сказано это было негромко, но голос принадлежал тому, кто привык приказывать. Человек в дверях посторонился, и я вошел в комнату. Там стоял стол со свитками на нем, а в очаге пылал веселый огонь. Высокие свечи горели в тройном медном подсвечнике, и пламя их было чистым,

какое дает только лучшее сало. Ничего подобного гостиница предложить не могла, как и алые с золотом занавесы из дамаста на стенах. Лицом ко мне стоял дородный мужчина могучего роста в черной шапочке на голове и в черной бархатной мантии, заколотой у горла драгоценной булавкой.

— Священник, — сказал он, — который еще и комедиант, — не такая уж редкость, особенно среди священников, получающих повышение, э, Томас?

— Да, сэр.

— Комедиант, который еще и священник, согласен с тобой, птица более редкая. Это мой секретарь и очень многообещающий адвокат. Как твое имя?

Я сказал ему, но не думаю, что он его запомнил, не тогда. Пока я говорил, он посмотрел на меня внимательнее, и его лицо изменилось.

— Придвинь ему стул, — сказал он. — Вот сюда, к огню. Налей ему кружку красного вина, которое мы привезли с собой.

Поистине, я думаю, он спас меня от обморока — слишком теплой и ярко освещенной была эта комната после холода и темноты.

— Такого вина ты в подобном месте не най-

дешь, — сказал он, глядя, как я пью. — Я смотрел вашу Игру вот из этого окна. Отлично сыграна, куда лучше обычного. Ваш старшой — человек богато одаренный.

— Для нас было бы лучше, будь он одарен поменьше, — сказал я.

— Вот как? — Он задумался, глядя на огонь. Лицо у него было тяжелым, висело складками, словно слишком много плоти наросло на кости. Но лоб был высоким, а рот твердо очерчен. Глаза, когда он поднял их на меня, смотрели холодно и взвешивающе — кроме того, мне померещилась в них какая-то печаль, будто он знал что-то, чего лучше не знать.

— Что привело тебя сюда? — спросил он, сделав знак секретарю снова налить мне кружку.

И тут я рассказал ему все, что произошло, пытаясь излагать события по мере того, как они происходили, что мне в моем утомлении было нелегко и было бы нелегко, даже не устань я, ведь столько зависело от случайностей и домысливания.

Я рассказал ему, как смерть Брендана свела меня с труппой и привела труппу в этот город. Я рассказал ему о нашей неудаче с Игрой об Адаме и сколь необходимо нам было заработать денег,

чтобы продолжить путь в Дарем. Я рассказал ему о замысле Мартина сделать Игру из убийства Томаса Уэллса, так как оно принадлежало городу.

— Сначала мы не сомневались, что девушка виновна, — сказал я. — Причин думать иначе не было, ее судили за это преступление и приговорили к казни. Но чем больше мы узнавали, тем труднее и дальше было верить этому. И не только из-за того, что мы узнали, порасспрашивав людей.

Тут я запнулся, так как подошел к той части моего рассказа, поверить которой было труднее всего. Его глаза смотрели на меня все с тем же выражением: внимательным, холодным, но не недобрым.

— Мы узнали через Игру, — сказал я. — Через наши роли. Объяснить это нелегко. Играть мне внове, но мне все время казалось, будто я вижу сон. Комедиант ведь тот, кто он есть, но и кто-то другой. Когда он смотрит на остальных участников Игры, он знает, что он — часть их сна, так же как они — часть его сна. Отсюда рождаются мысли и слова, какие вне Игры не пришли бы на ум.

— Да, я понимаю, — сказал он. — И пока вы играли убийство…

— Игра больше не указывала на девушку, а

сначала на бенедиктинца, потому что он солгал.

Я начал пересказывать ему эту ложь, но он поднял ладонь.

— Я читал показания бенедиктинца, — сказал он.

В первый раз он дал понять, что знакомился с этим делом, и сердце у меня взыграло.

— Но тут его повесили, — сказал я. — Его одели в рубаху кающегося, связали ему руки и повесили. И мы подумали, что это должна быть кара за то, что он допустил, чтобы этого убитого нашли. Но так карать могут только могущественные, те, кто получил свою власть от Бога или от короля.

— Мы, слуги Короны, сказали бы, что это одно и то же, э, Томас?

— Да, сэр.

Говоря это, он чуть улыбнулся, и вновь я заметил в его лице какую-то печаль, что-то, что, мне кажется, было там не всегда, а пришло с годами приятной жизни и с прерогативами его должности.

— Так, значит, — сказал он, — Монах взял тело Томаса Уэллса после того, как кто-то другой его убил, и положил у дороги. Затем кто-то другой или кто-то еще убил Монаха. А вы не спросили себя, почему он выбрал это время, чтобы унести

тело мальчика? Почему он выжидал так долго? Это же было опасное время, не так ли? Уже, наверное, светало. Ведь этот Флинт нашел мальчика очень скоро.

— Может быть, его тогда и убили.

Он покачал головой:

— Мальчика схватили днем, перед началом сумерек. Тот, к кому его привели, уже ждал, и, наверное, с нетерпением. И не похоже, чтобы Томаса Уэллса задушили по размышлении. Рассвет — обычное время, когда убивают себя, но не других. Разве что по королевскому указу, э, Томас? Налей ему еще вина, но только полкружки, ему пока еще надо сохранять ясность ума.

— А потом спешка, — сказал я. — Управляющий заплатил священнику, и мальчика похоронили при нем. Начало казаться…

Я умолк от внезапного страха, глядя на мясистое лицо с проницательными глазами совсем близко от меня. Вино развязало мне язык, но не таила ли такая откровенность угрозу? Спасся ли я из одной ловушки, только чтобы угодить в другую?

— Мы ничего дурного не хотели, а только думали про Игру, — сказал я. — И нас вело и вело шаг за шагом.

— Бояться нечего, — сказал он. — Даю тебе в

том мое слово. Я ничего от тебя не потребую сверх этого рассказа.

Мне оставалось только уповать, что он сказал правду. Я уже зашел слишком далеко, чтобы взять свои слова назад или замолчать.

— Потом Мартина сразила любовь к этой девушке, — сказал я. — Чистое безумие, ведь он видел ее всего один раз.

Я рассказал ему про то, как нас схватили, как продержали ночь и день взаперти, а потом отвели к Лорду и заставили представить Игру, но в особом покое, только перед самим Лордом и его управляющим, и как Мартин предал нас.

— Вы первые комедианты, допущенные в собственные апартаменты сэра Ричарда, — сказал он. — Говорят, он любит музыку, но не зрелища и не Игры. Жизнь он ведет самую воздержанную. — Это было сказано почти с жалостью, словно речь шла о какой-то ущербности духа.

— Ну, — сказал я, — этот покой свидетельствовал о самом строгом воздержании. В нем не было ничего, кроме единственного кресла. И там нигде не было ничего примечательного, кроме смрада чумы, когда мы шли туда.

Сказал я это просто так, но он поднял голову и вперил взгляд в мое лицо.

— Чумы? Ты уверен?

— Я уверен, да. Этот запах не похож ни на один другой. Раз его учуяв, будешь узнавать всегда. Он доносился из комнаты, мимо которой мы проходили.

— Быть может, тот, кто был внутри, уже предстал перед своим Судией?

— Не думаю. — Я постарался припомнить, не потому, что придавал этому хоть малейшее значение, но из-за его нескрываемого интереса к моим словам. Короткий коридор, внезапно отворившаяся дверь, сестра под покрывалом и в капюшоне с белыми тряпицами, переброшенными через рукава ее одеяния, запах смерти в жизни, который преследовал нас.

— Это было лишь мимолетное впечатление, когда мы проходили мимо, — сказал я. — Мне кажется, за тем, кто находился там, еще ухаживали.

Он долго молчал. Потом слегка кивнул, словно бы равнодушно, и отвел взгляд.

— Да, понимаю, — сказал он. — Представь себе, Томас: этот комедиант является неизвестно откуда, надевает маску Гордости и отчитывает его в его же собственном покое. Сэра Ричарда де Гиза, одного из самых могущественных баронов к

северу от Хамбера, земли которого простираются отсюда на восток почти до Уитсби, отправляющего собственное правосудие, а не королевское, имеющего собственное войско, собственный двор и собственную тюрьму.

— Этот человек, видимо, безумен, — сказал секретарь.

— Ты называешь это безумием? — Его взгляд снова обратился на меня. — Я думал, любовь внушает человеку желание сохранить свою жизнь, а не губить ее.

— Он человек крайностей. К тому же он утратил надежду спасти девушку. Он не знал… — Тут мне пришлось умолкнуть, чтобы справиться с собой, со слезами благодарности. — Никто из нас не знал, — сказал я, — что ты приехал сюда совершить королевское правосудие и исправить это гнусное зло.

Теперь он обратил свои глаза прямо на меня, сощурив их, будто что-то его забавляло или он просто недоумевал.

— Королевское правосудие? — сказал он. — Знаешь ли ты, что такое королевское правосудие? Ты думаешь, что я оставил бы дела в Йорке, проехал бы эти утомительные мили в такую погоду до этой жалкой гостиницы, где мне подают еду,

годящуюся только для свиной кормушки, ради мертвого серва и немой козьей пастушки?

— Я не подумал, что могла быть другая причина твоего приезда. Я думал…

— Ты думал, что я один из твоей труппы, один из комедиантов, прибывший, чтобы надеть маску Юстиции в вашей Правдивой Игре о Томасе Уэллсе? Имелся Монах, и Лорд, и Ткач, и Рыцарь. А теперь еще Судья, который в конце расставит все по своим местам. Но я занят в другой Игре. Как, ты сказал, тебя зовут?

— Никлас Барбер.

— Сколько тебе лет, Никлас Барбер?

— Это моя двадцать третья зима, сэр, — сказал я.

Он откинулся в кресле и посмотрел на меня, потом покачал головой.

— У меня нет сыновей, только дочери, — сказал он. — Но будь у меня сын такой, как ты, меня тревожило бы, как бы простодушие не толкнуло его на легкомысленное безумство и не привело бы к беде. Ты ведь уже поддался такому безумству, не так ли? Ты покинул пределы своей епархии без разрешения, ты присоединился к комедиантам.

— Да, — сказал я, — это правда.

— Что привело тебя к этому? — Он все еще при-

стально смотрел на меня, но теперь словно бы просто с любопытством, которое испугало меня больше, чем его насмешливое недоумение. — Ты занимал достойное положение, — сказал он. — Ты образован. Ты мог бы надеяться на повышение.

— Я младший диакон… или был младшим диаконом Линкольнского собора, — сказал я. — Меня усадили переписывать пилатовского Гомера для щедрого благодетеля, книгу чрезвычайно скучную и многословную. Был месяц май, птицы распевали за моим окном, и расцветал боярышник.

— Так просто? — Он отвел глаза. — Не более чем бездумный порыв. — Его взгляд обратился на пышные занавесы по стенам, на яркое пламя, на безмолвного готового к услугам секретаря. — Томас никогда ничего подобного не сделал бы, верно, Томас?

— Нет, сэр.

— Томас когда-нибудь будет заседать в Суде Королевской Скамьи. — Он снова поглядел на меня. — Я тоже никогда не сделал бы подобного. Я учился и готовился только для одной роли. Если бы мной овладел такой порыв, я подумал бы, что заболел.

Он умолк, и некоторое время в комнате слы-

шались только шорохи огня. Потом он сделал движение, будто просыпаясь.

— Мы с Томасом должны завершить одно дело не для посторонних ушей, — сказал он. — Я попрошу тебя недолго подождать где-нибудь еще. Потом мы вместе совершим короткую поездку. Но прежде я расскажу тебе кое-что о королевском правосудии, хотя и не надеюсь побороть твое простодушие. Десяток лет и более, с тех пор как я стал советником короля, этот упрямец де Гиз тревожит нас. Он держит под оружием больше людей, чем надобно, и они непокорны, буйны и угрожают миру в королевстве, подати — прерогатива короля — идут на уплату им. Он объединяется с другими такими же, чтобы отстаивать право лордов как пэров королевства выносить приговоры равным себе, таким образом опровергая право короля судить их. Он берет закон в свои руки. Только королевским судьям дано судить за тяжкие преступления в графствах, и все штрафы и конфискации должны поступать в королевскую казну, однако этот лорд присваивает право разбирать подобные дела суду своего шерифа, и все деньги поступают в его сундуки.

Он крепко сжал губы и помолчал.

— Ты понимаешь? — сказал он. — Такой чело-

век уважает только силу. А сейчас не время для применения силы, когда верность народа зыбка, а Палата Общин всегда готова кричать о тирании. Но я следил за ним, мой доверенный в его замке доносил мне о нем. Затем год назад до нас начали доходить слухи о пропавших детях, тех, про кого ты знаешь, и других — бездомных детях в городе, детях-сиротах, приходивших просить милостыню к воротам замка. Всегда только мальчики. И вот теперь этот случай с Томасом Уэллсом, тем, которого нашли. Наконец-то тропка, которая привела к дому де Гиза.

Он помолчал, улыбаясь, и протянул белые руки к огню, словно все еще лелея дивное тепло этой удачи, и драгоценные камни в его перстнях засверкали в свете огня.

— И теперь я знаю правду.

— И теперь ты предашь его правосудию, одновременно служа делу короля.

Он покачал головой и опять улыбнулся.

— Вижу, тебя сажали переписывать не те книги, — сказал он. — Ты думаешь, де Гиз кротко согласится предстать перед судом? Правосудие труднее применить к сильному, чем к беззащитному. Больше всего он озабочен славой своего рода. Природа этого преступления для нас вели-

кая удача.

— Удача? Томас Уэллс не сказал бы так, имей он голос.

Улыбка исчезла, и глаза на тяжелом лице сощурились, глядя на меня, и я понял, что значит оказаться помехой на пути подобного человека.

— На то, чего нам не изменить, мы не тратим времени, если только не можем обратить случившееся себе на пользу, — сказал он. — Пора тебе усвоить это, Никлас Барбер. Смерть этого мальчика может нам пригодиться. Есть смертные грехи и смертные грехи. Некоторые из них могут прибавить блеска его гордости. Но не содомский грех. Нет, я поговорю с ним, и он прислушается, и будет продолжать прислушиваться до конца своих дней. — Он помолчал, и его лицо чуть смягчилось. — Только одно ставило меня в недоумение, но ты пролил полный свет на эту загадку. Я благодарен тебе.

— Каким образом?

— Узнаешь попозже. Некоторое время ты будешь нас ждать, потом мы вместе поедем куда-нибудь, и обещаю тебе, тогда ты все поймешь.

— В замок?

Он встал и посмотрел на меня с высоты своего роста.

— Нет, не в замок, — сказал он.

Я уже шел к двери, когда он снова заговорил:

— Ничего дурного с тобой не случится. Жди меня внизу, не убегай. После этой поездки в моей власти будет освободить девушку из тюрьмы и передать тебе.

— А остальные? Что будет с ними?

— Да, — сказал он. — Их тоже. Не бойся за них. Вчера, когда вас увезли, я отправил сэру Ричарду несколько слов, достаточных, чтобы он помедлил. Вот что я могу сделать для твоих друзей. Ну а за тебя я мог бы замолвить слово перед Линкольнским епископом, если ты хочешь вернуться.

Я поблагодарил бы его, но он сделал мне знак уйти, и секретарь подошел, чтобы выпроводить меня из комнаты. Я спустился по лестнице и вновь вышел во двор. Двигаясь бесшумно и держась стены, я добрался до сарая и подергал дверь, так что цепь зазвякала, но негромко. Изнутри отозвался пес — не то залаял, не то заскулил. Затем голос Маргарет, охрипший со сна, спросил, кто там.

— Это я, Никлас, — сказал я, почти прижимая губы к двери.

Несколько мгновений спустя я услышал, как ключ повернулся в замке, и дверь приоткрылась

настолько, что я проскользнул внутрь. Маргарет зажгла свечу и теперь держала ее в руке. Свеча снизу освещала ее широкие скулы и растрепанные космы волос.

— Значит, ты вернулся, — сказала она. — Я собиралась ждать до утра.

Я не понял, что означали эти слова, но прежде, чем я успел что-то сказать, она сунула свечу мне в руку, повернулась и быстро порылась в соломе. Когда она выпрямилась, в руке у нее был ящик, в котором мы хранили сбор за представление.

— В этом нужном чулане я больше ни на одну ночь не останусь, — сказала она. — В ящике шестнадцать шиллингов и четыре пенса. То, что осталось от сбора. Мне пришлось заплатить еще за две ночи тут. Вонючка взял бы плату по-другому, да только я его на дух не терплю. Подними свечку повыше, Никлас, и я их пересчитаю. Половину оставлю для себя, раз я никогда не принадлежала к этой труппе и ни к какой другой.

Она начала отсчитывать монеты в мою ладонь. Ни слова сочувствия моему жалкому состоянию, ни единого вопроса об остальных.

— Маргарет, мы тебя не бросили, — сказал я. — У нас не было выбора.

— Не в том дело, — сказала она. — Погоди, не то

я собьюсь со счета.

Одни пенни, и они уже не умещались в моей горсти.

— Складывай сюда, — сказала она и подала мне черный кошель убийства, который я в последний раз видел, когда Мартин поднял его перед зрителями на всю длину своих рук, будто Святые Дары.

— Я его держала наготове, — сказала Маргарет.

Когда деньги были отсчитаны, она вздохнула, кивнула мне и опять спрятала ящик под соломой.

— Я беру половину в уплату, — сказала она. — Другой уплаты я не видела. Я знала, что мне не дадут участвовать в представлениях, но я же делала то, что требовалось и чего никто другой не мог бы сделать, и я думала, что у меня будет мое место в труппе, но никакого места мне не дали, кроме как служить вам. Я не хотела думать про это раньше, но когда явились стражники и забрали вас, а меня забрать не позаботились, мне пришлось задуматься, и я поняла, что ничего не стою.

— Для них — да.

— И для вас тоже, — сказала она просто, будто тут было не о чем спорить.

Мне показалось странным, противоречащим логике плодом неразумности женской природы, что Маргарет так обиделась на избавление от опасности смерти, да к тому же винит в этом нас, которым эта опасность угрожала.

— Остальных не отпустили, — сказал я. — Они все еще в замке, и им грозит смерть.

— Не хочу про это слышать, — сказала она. — Они комедианты, и это их Игра.

— А куда ты пойдешь?

— Пойду к Флинту. Он заходил нынче в полдень и спрашивал меня. Те два раза, когда мы были вместе, ублаготворили его. Он хочет взять меня к себе в дом. И пса возьмет. Говорит, что он еще молодой и научится стеречь овец. Здешний хозяин обещал присмотреть за конягой, надеется, что никто за ним не вернется.

Я не думал, что пес оправдает надежды Флинта, как, наверное, и Маргарет, но, разумеется, об этом я промолчал.

— Ну, — сказал я, — от всего сердца желаю тебе удачи.

Тут она чуть улыбнулась, но как будто не подобрела, хотя подошла и поцеловала меня.

— Возвращайся к своему епископу, — сказала она. — Ты был лучшим из всех.

— Ну, это сомнительно, — сказал я. — А касательно того, чтобы быть принятым в труппу и получить роль в представлении, вспомни фаблио[14] о Дьяволе и Комедианте. Ты его знаешь?

Она покачала головой и зевнула совсем не подбодряюще. Тем не менее я не отступил, ибо думал, что она может почерпнуть в нем утешение.

— Случилось это тогда, когда комедиантов еще вовсе не было, если мы способны вообразить такое время. Дьявол рыскал по миру и набрел на человека, ведшего самую добродетельную жизнь, и попытался его совратить. Он пустил в ход все соблазны: плотские желания, сокровища мира, славу и власть. И все их человек не дрогнув отвергал. Дьявол совсем растерялся и не придумал ничего лучше, как обещать, что он сделает его комедиантом. Человек не узрел в этом ничего плохого и дал согласие, тем самым проиграв спор, а с ним и душу, ибо комедиант заимствует кусочки и обрывки чужих душ, и из-за этого его собственная душа отторгается от него, ускользает, и Дьявол хватает ее без всякого труда. И таков был с тех пор жребий всех комедиантов.

Отклик Маргарет на эту историю утвердил

---

[14] Сноски: 14

Фаблио — народный жанр средневековой французской литературы: пересказ анекдотического события в прозе или в стихах.

меня в убеждении, что женщины не способны к абстрактному мышлению.

— Если Стивен увернется от петли, — сказала она, — предупреди его, что Флинт высок, силен, а оба его больших пальца при нем, и они очень крепкие.

Я обещал, и она легла спать. Я сидел на соломе, привалившись спиной к стене, и обдумывал то, что сказал мне судья. Лорд должен был уже получить его письмо, возможно даже, оно было при нем, когда он сидел и смотрел нашу Игру. Мартин издевался над ним в маске Гордыни и старался втянуть его в Игру о Томасе Уэллсе. Но это письмо, которое я не читал и никогда не прочту, навязало ему роль в другой Игре, в которой играл Судья, а также Король, в большой Игре, в которой страдания невинных никакой важности не имеют, если только не служат козырем при заключении сделки. И когда глаза у меня начали смыкаться, я подумал, а нет ли еще большей Игры, в которой Короли, Императоры и Папы, хотя и думают, что занимают середину пространства, на самом деле отодвинуты к его краям.

Глава шестнадцатая

Меня разбудил голос за дверью сарая. И Маргарет тоже, но я быстро вскочил и вышел, прежде чем она успела толком проснуться. Во дворе стояли более десятка всадников, часть в кольчугах и с оружием. Судью в самой середине окружали мужчины в плащах с капюшонами, и я углядел у одного квадратную челюсть секретаря. Эти все сидели на лошадях, но некоторые на мулах, и у двоих из этих к седлам были приторочены заступы и веревки. Едва я их увидел, как догадался, куда мы поедем. Но время было не для вопросов, меня ждал уже оседланный мул, и я взобрался на него.

Теперь луна плыла высоко в ясном небе, и пока мы ехали через город, света было достаточно, однако некоторые всадники везли незажженные факелы. Мы свернули на дорогу, которая вела вверх, к церкви, и ехали теперь не тесной группой — те из нас, кому достались мулы, растянулись вереницей сзади, а справа и слева уже простирались поля. В ложбинах и на нижних склонах и у каменных стенок, перегораживаю-

щих поля, намело снежные сугробы странных форм, которые в этом бледном сиянии казались незавершенными, — формы животных и людей, еще не доведенных до бытия, с грубыми головами и членами, со складками, в которых однажды могли открыться глаза, борозды и ямки, ждущие претворения. Снег наконец-то стал мягким, копыта коней впереди взметывали белую пыль, достигавшую колен всадников.

Лунный свет серебрил кладбищенские травы и посверкивал на снегу, застлавшем могилу Брендана, выкопанную столь недавно, но уже будто принадлежащую стародавним временам. Над снегом все еще торчал просмоленный крест мальчика, отмечая могилку, упокоившую его тело, и вот там они начали копать, пустив сначала в ход кирку с длинной ручкой, потому что земля под снегом все еще была окаменевшей после морозов. Теперь запылали факелы, и багровый свет горящей пеньки поглотил свет луны, и потому за пределами их пылания была только темнота.

Я стоял в кругу факельного света, на самом его краю, и смотрел. Земля под смерзшейся коркой до сих пор оставалась рыхлой, и копать ее было просто. Судья обменялся тихими словами с человеком в капюшоне, самым ближним к нему. А

затем наступило только ожидание, свет факелов и никаких звуков, кроме скрипа лопат и шороха ссыпаемой земли.

Затем раздался удар металла о дерево, кто-то из копавших слез в узкое пространство с веревками, и гроб подняли и поставили у могилы, и тот же самый человек вскрыл крышку.

Мои впечатления от того, что последовало, были смутными и в памяти остались такими же навсегда. Копавшие отошли в сторону. Двое из стоявших рядом с судьей вышли вперед и с ними один из факельщиков. Теперь, когда на них падал свет, я увидел, что нижняя часть их лиц закрыта масками из какой-то черной ткани, загораживающими рот и нос. Когда они наклонились к гробу, я увидел на их руках черные перчатки. И поднялся смрад, такой же, который донесся из покоя в замке, но только послабее. Оба в капюшонах и масках занялись трупом, но я не видел, что они делают. Затем судья обернулся, посмотрел на меня и поманил к себе. Он стоял близко от гроба, но не настолько, чтобы к нему прикоснуться. Я подошел, как он велел мне, и посмотрел на то, что они делали в могиле, и увидел истинное лицо Томаса Уэллса, носившего до этого мгновения лицо Прыгуна, а потом рогожное лицо пугала с

дырками вместо глаз, из которых торчала солома. Но это лицо было менее настоящим, чем те оба, оно потерялось в смерти. Смрад теперь стал сильнее. Они поворачивали его нагое тело туда-сюда, и его руки и ноги волоклись по снегу.

В круге факельного света находились теперь только эти двое, возящиеся с трупом, судья и я. Стражники с самого начала оставались в отдалении, там, где к деревьям были привязаны лошади, а остальных теперь отослали к ним. Один из занятых трупом поднял голову, поглядел вверх на судью и сказал негромко, голосом, приглушенным маской:

— Без всяких сомнений, имел место акт содомии, и очень насильственный. Тело либо вовсе не обмывали, либо обмыли в спешке — следы крови сохранились до сих пор. И есть следы удушения. Но шея сломана, и умер он из-за этого. Я бы сказал, что его придушили почти до смерти — возможно, во время совершения акта, — а затем ему сломали шею одним движением. Сделать это мог только кто-то очень сильный.

Он помолчал, глядя вверх на нас сквозь багровый свет. Потом он сказал:

— Он бы все равно умер, и очень скоро, ты был прав, милорд. Он уже носил недуг в себе. Вот

взгляни. — Он взял правую кисть Томаса Уэллса и поднял его руку по направлению к нам. — Посвети поближе, — сказал он факельщику.

В ямке подмышки чернело вздутие величиной с куриное яйцо, и кожа вокруг него лопнула, и когда тело еще жило, исторгало какую-то вязкую субстанцию, а теперь она засохла темной коркой. Капли растаявшего снега лежали на его бледном лице и груди и сливались во влажное пятно, словно субстанция эта расползалась.

— Еще один — в паху справа, но поменьше, — сказал человек в капюшоне. — Чтобы его увидеть, тебе надо подойти поближе.

— Я уже видел достаточно. — Судья отвернулся. — Позаботься, чтобы бедного паренька одели в саван и должным образом вновь предали земле, — сказал он через плечо и уехал, забрав меня с собой.

Обратно мы ехали бок о бок — он придерживал своего коня рядом со мной, а его люди следовали сзади. И пока мы ехали, он рассказал мне то, в чем я нуждался для полного понимания.

— Это монах поставлял мальчиков, — сказал он. — Около замка, конечно, есть трясина или клоака или же тайник в подвалах, где потом он прятал трупы. Разумеется, разыскать это место

не очень трудно, но нам нет надобности заходить так далеко.

— Но почему человек творит подобное зло? Ради какого вознаграждения?

— Неосмысленные вопросы, Никлас. Зло слишком уж обычно в нашем мире, чтобы задумываться над тем, почему да отчего. Куда естественнее спросить о более редкостном и дивиться, почему люди иногда творят добро. Может быть, ему нравилось наблюдать. Может быть, ему платили. Может быть, он искал той власти, какую обретают, становясь необходимым власть имущим.

В сердце своем я не поверил в подобное преобладание зла и до сих пор не верю, кроме тех часов, когда мной владеет уныние.

— Ну, Тот, кому он служил, — сказал я, — наградил его петлей за его труды.

— Он был повешен за свои преступления и чтобы помешать ему говорить. И сделал это не тот, кому он служил. Тот, кому он служил, уже умирал.

На мгновение, пока мы ехали в более неверном свете, так как луну теперь затягивали облака, в моей памяти возникли те последние слова, которые, будто странно понуждаемые, мы произносили хором в нашей Правдивой Игре о Томасе

Уэллсе: «Он был духовником Лорда, он служил благородному Лорду…»

— Ну конечно же, — сказал я, — теперь я понял. Это был молодой лорд, сын. Симон Дамиан был духовником Лорда, это так, но служил он сыну. Отец каким-то образом узнал про это или уже знал, как знают что-то и не допускают в свои мысли.

— Или же молодой человек мог облегчить душу, когда понял, что умирает, — сказал судья. — Уильям де Гиз, любимец дам, единственный сын, цвет рыцарства.

— Вот почему он оставался в своем покое. Вот почему он не выехал на ристалище!

— Видишь ли, — сказал судья, — от остальных Томас Уэллс отличался двояко: он нес кошель с деньгами, и он как раз заразился чумой. Возможно, он уже чувствовал себя плохо и останавливался отдохнуть, а потому еще шел по дороге, когда спустилась темнота. Про кошель монах знал, но про чумные признаки не знал никто, пока Уильям де Гиз, гордость сердца своего отца, не сломал мальчику шею. Затем, когда похоть его насытилась, у него оказалось достаточно времени заметить их. И уж тогда он больше к мальчику не прикоснулся. Ни он, и никто другой.

Так он и пролежал там до ночи. И тут Симон Дамиан измыслил свою хитрость. Он выждал столько, сколько осмелился. Двенадцать часов после смерти чума остается прилипчивой, так, во всяком случае, верят люди, хотя я слышал, что врачеватели считают это время более длительным. А мальчика надо было одеть и оставить на дороге до рассвета — монах не мог допустить, чтобы его увидели. Все это было для меня темно до нынешнего вечера, пока ты не сказал мне про чумной смрад в жилых апартаментах замка.

Потом мы некоторое время ехали молча. Я думал о том, как сильно был должен Монах ненавидеть Ткача, если подверг себя такой опасности — не только гневу своего господина, но и гнусному дыханию чумы. Но конечно же, он понимал, что его роль сводника подошла к концу. Быть может, он подыскивал себе другую. Тому, чью звериную похоть он кормил и кому под конец скормил моровую язву и смерть, уже нельзя было дать никакой роли, никакой маски ужаснее его собственного лица.

— Теперь он не более чем зловонный запах, — сказал судья, будто угадав, куда клонятся мои мысли. — Никто не живет более шести суток после появления первых признаков. А сейчас как

раз шесть дней с того часа, когда монах положил мальчика у дороги. Ведь произойти это должно было именно в это время утра. Взгляни, скоро рассветет.

Перед нами над кровлями и трубами города завиднелись первые тусклые полосы занимающегося дня. Затем мы свернули на улицу, где находилась тюрьма. Оставался один вопрос, язвивший мою душу. Я вспоминал слова Стивена и его жест оратора, когда он сидел пьяный в сарае, вытянув перед собой длинные ноги: «А раньше ничего…»

— Почему только теперь, в эти последние месяцы? — сказал я. — Почему не прежде? Какой демон Ада посетил молодого лорда, когда он стал мужчиной?

Судья посмотрел на меня сверху вниз. Лицо его было в густой тени капюшона, и я не мог разглядеть на нем никакого выражения.

— Ты всегда спрашиваешь, почему то или другое, — сказал он. — Семя уже было посеяно. У каждого растения есть свое время расти, и оно может быть долгим, но когда появляются цветы, они раскрываются быстро. А ведь эти получали солнце и воду от монаха, без сомнения, достаточно искусного садовника.

Мы остановились перед тюремной дверью, и один из стражников ударил по ней кулаком в железной рукавице. Тюремщик, ворча, выглянул в решетчатое окошко, но тотчас умолк, увидев, с кем ему предстоит иметь дело, поспешно отворил дверь и низко поклонился. Я остался ждать один, там, в закоулке. Снаружи остались и другие, державшие лошадей, но я отошел в сторону от них. Ответ судьи не успокоил мой дух. Я задумался над тем, кто мог посеять такое семя и когда. Я думал, что посеять его мог Сатана, пока лорд Уильям спал или когда он был слишком юн, чтобы понять это. Может быть, даже более юн, чем этот Томас Уэллс, которого он замучил и убил…

Когда они вышли из двери, между ними шла освобожденная девушка.

— Теперь она под твоей опекой, — сказал судья и подвел ее ко мне и вложил ее руку в мою. Но благодарить ей следовало не меня, и она это знала. Она не издала ни единого звука, но когда судья с помощью одного из своих людей снова взобрался в седло, она отошла от меня, бросилась к нему, схватила его руку и поцеловала. Это был первый жест ее свободы. Он улыбнулся поверх ее склоненной головы, первой улыбкой без иронии, которую я увидел на его лице. И я не мог не по-

думать о странности этого: того, что он — увидел я по его лицу — принял ее благодарность как нечто ему положенное, хотя ее жизнь никакого значения для него не имела, хотя она избежала повешения по чистейшей случайности, вроде мысли мимоходом, нежданной перемены в обсуждении Игры.

— Это пример правосудия короля, — сказал я. — Ну а Божьего?

Он повернул коня, все еще улыбаясь.

— Его понять труднее, — сказал он. — Не король насылает на нас моровую язву. Ты был мне полезен, Никлас Барбер, и я поспособствовал бы тебе, если бы мог. Ты подумал над моим предложением вернуть тебе благоволение твоего епископа?

Правду сказать, я об этом почти не думал, слишком мало у меня было времени для размышлений. Но, поглядев на него в первом свете дня, я понял, каким должен быть мой ответ — тем, которому научила меня Игра о Томасе Уэллсе. Я не вернусь больше в Линкольн, разве что как комедиант. Я мало что знал о мире, как сразу увидел судья, но я знал, что мы гложем отдаться ролям, которые играем, и если это продолжается слишком долго, пути назад мы не найдем. Когда я был младшим диаконом, переписывающим Гомера Пилато для

благородного патрона, я думал, что служу Богу. Но я всего только выполнял распоряжение епископа, старшего комедианта во всей труппе собора. Я исполнял роль нанятого писца, но не знал этого и думал, будто такова моя истинная натура. Богу не служат через самообман. Порыв бежать был не легкомысленным безумием, но мудростью моего сердца. Я буду комедиантом и постараюсь сберечь свою душу в отличие от комедианта в фаблио. И больше я не попаду в капкан роли.

— Я благодарен, милорд, — сказал я, — но теперь я останусь комедиантом.

Судья кивнул. Он уже не улыбался. Выражение его было настороженным, холодным и немного печальным, каким было, когда я только начал рассказывать ему мою историю.

— Выбор принадлежит тебе, — сказал он. — А сейчас возвращайся в гостиницу и жди там. Твои друзья присоединятся к тебе попозже — это я тебе обещаю. А теперь мне пора отправляться для беседы с сэром Ричардом де Гизом.

Он снова кивнул и тронул коня, свита выстроилась сзади. Мы следили за ними, пока их фигуры не растаяли в неверном свете. Девушка подняла руку и попыталась привести в какой-то порядок спутанную гриву своих волос. А я подумал, будет

ли Мартин любить ее и дальше, когда она более не скована цепью.